

Идея безконечного въ положительной наукѣ и въ ре- альномъ искусствѣ.

I.

Нѣкогда идея безконечного была какъ бы монополіею метафизической философіи. Не трудно показать, что въ настоящее время она есть достояніе положительной науки. Чтобы мыслить безконечное, чтобы созерцать его—нѣть ужъ надобности быть непремѣнно философомъ,—для этого достаточно быть адептомъ любой специальной науки. Да и сама философія въ наше время лишь постольку овладѣваетъ идеей безконечного, поскольку уже владѣеть ею положительная наука, па которой и должна основываться всякая философія, достойная этого имени.

Положительная наука (въ противоположность метафизикѣ) есть процессъ познанія явлений (а не сущности вещей), „ограниченный“ предѣлами познаваемаго. Не трудно видѣть, что это „ограниченіе“ ничуть не суживаетъ кругозора науки, равно какъ и не ставить преградъ ея безконечному развитію. „Ограничение“ предѣлами познаваемаго, воздержаніе отъ всякихъ стремленій переходить за эти предѣлы, проникать въ скровенную сущность вещей,—это только вопросъ метода. Довольствоваться изученіемъ явлений, познаніемъ законовъ, ими управляющихъ, не подымать вопросовъ о сущности вещей, о началѣ началъ и концѣ концовъ—это только основа или первый параграфъ научной методологіи, выработанный самой практикой научнаго познанія, т. е. историческимъ развитиемъ науки. Психологическое и философское обоснованіе этого „параграфа“, какъ известно, сдѣлано было Кантомъ, который поэтому и признается творцомъ или, лучше, провозвѣстникомъ, предтечей научной философіи.

Научная философія (въ противоположность метафизикѣ) не есть законченная система, построенная „возлѣ“ науки. Она—въ самой науцѣ и является объединенiemъ всего, что въ данную эпоху научно познано, присоединяя къ этому изслѣдованіе психологическихъ законовъ и нормъ познанія, равно какъ и изученіе эволюціи познающаго разума. Такая философія не можетъ быть закончена: она вѣчно измѣняется, вѣчно перестраивается, движется, развивается вмѣстѣ съ развитиемъ самихъ наукъ, вмѣстѣ съ вѣчнымъ движениемъ познающей мысли.

Теперь обратимся къ искусству. *Реальное* искусство въ области художественного творчества занимаетъ такое самое мѣсто, какое въ сферѣ теоретического познанія принадлежитъ положительной науцѣ.

Оговорюсь, что рѣчь идетъ у насъ пока только объ искусствѣ образномъ: мы оставляемъ въ сторонѣ искусство „личическое“, къ которому не приложимо дѣленіе на реальное и нереальное. Лирика—творчество *эмоцій*, а не *образовъ*. Только образы могутъ быть реальны и нереальны, т. е. отвѣтать дѣйствительности, быть ея воплощеніемъ, ея художественнымъ обобщеніемъ, или не отвѣтать дѣйствительности и быть только плодомъ досужей фантазіи сочинителя. Что касается лирики, то, пожалуй, въ извѣстномъ смыслѣ ее можно бы назвать „реальнымъ“ искусствомъ по преимуществу, потому что эмоціи, ея объектъ,—всегда реальны и не могутъ быть „сочинены“. Излишне пояснять, что „реализмъ“ лирики, съ психологической точки зрѣнія, совсѣмъ не то, что реализмъ образного искусства. Онъ сводится къ „искренности“, „внутренней правдивости“ чувства, между тѣмъ какъ въ поэзіи образовъ вполнѣ возможно совмѣщеніе „нереальности“ съ искренностью: можно „сочинять“ и искажать дѣйствительность совершенно—искренно и наивно.

Реальное искусство противополагается нереальному, неоднократно выступавшему въ разныхъ видахъ на историческую сцену, то въ видѣ *ложнаго классицизма*, то—*романтизма*, то—*символизма*, наконецъ—*неоромантизма*. Всѣ эти нереальные направленія имѣли или имѣютъ свое значеніе, котораго я не отрицаю, подобно тому какъ не отрицаю я исторического значенія метафизическихъ системъ, противопоставляя имъ положительную науку и научную философію.

Изъ нереальныхъ школъ искусства выходили и еще могутъ выйти выдающіяся, даже великія произведенія, созданія генія,— и отрицать ихъ было бы дѣломъ напраснымъ. Я утверждаю только, что, подобно тому, какъ развитіе научной мысли дѣлаетъ метафизическая построенія все болѣе и болѣе ненужными, такъ и развитіе искусства въ направленіи истиннаго реализма, художественного познанія дѣйствительности все болѣе и болѣе ограничиваетъ роль и значеніе всякаго „сочинительства“ въ искусствѣ, отводя ему второе мѣсто въ умственной производительности человѣчества.

Мы опредѣляемъ пока понятіе реальнаго искусства отрицательно,—противопоставляя его нереальному. И все, что мы сказали о немъ, сводится къ положенію, гласящему такъ: „реальное искусство это—то, въ которомъ нѣть искаженія дѣйствительности“. Совершенно очевидно, что такое опредѣленіе не достаточно. Настоящее—положительное—понятіе реальнаго искусства само собою выдѣлится изо всего нижеслѣдующаго; это и составляетъ одну изъ задачъ предлагаемаго этюда. Здѣсь же къ нашему отрицательному опредѣленію мы прибавимъ еще одно указаніе.

Къ числу нереальныхъ произведеній искусства можно отнести кромѣ ложно-классическихъ, романтическихъ и т. д., также и тѣ, въ которыхъ все, и фабула, и обстановка, и персонажи, *повидимому*, взято изъ дѣйствительности и находится въ полномъ согласіи съ существующими отношеніями, нравами и т. д., но, вмѣстѣ взятое, даетъ ложное освѣщеніе дѣйствительности, или же, хотя-бы и не ложное, а только такое, которое никому и ни на что не нужно.

Такія произведенія достаточно известны во всѣхъ литературахъ. Ихъ можно сопоставлять съ тѣми, также довольно многочисленными, учеными изслѣдованіями, которыя, хотя и произведены по всѣмъ правиламъ науки, но даютъ въ результатѣ превратное понятіе объ изслѣдуемомъ явленіи, или же приводятъ къ выводамъ, которые, будучи вѣрными, однако никому и ни на что не нужны. Въ искусствѣ это—*ложный реализмъ*, въ наукѣ это—*ложная наука*.

Въ дальнѣйшемъ мы всегда будемъ имѣть въ виду, говоря о наукѣ и искусствѣ: 1) положительную теоретическую науку, какъ процессъ познанія законосообразности явлений, и 2) реальное искусство, какъ процессъ познанія дѣйствительности

путемъ претворенія ея въ художественно-типичные образы или въ типичную картину жизни.

Послѣ этихъ предварительныхъ замѣчаній, мы можемъ обратиться къ нашей темѣ—о безконечномъ въ наука и искусстве.

II.

Безконечное дано въ научномъ и художественномъ познаніи потому, что оно дано въ самомъ явлениі, въ самой дѣйствительности, составляющихъ объектъ того и другого познанія.

Это положеніе станетъ совершенно очевиднымъ, если мы придадимъ ему слѣдующую форму:

Миръ явлений (въ искусствѣ дѣйствительность) воспринимается и постигается нами не иначе какъ въ категоріяхъ: 1) пространства и времени, 2) матеріи и силы, 3) причины и слѣдствія, 4) эволюції¹⁾.

Эти категоріи суть формы нашихъ воспріятій и формы нашей мысли. Для насъ нѣтъ объекта воспріятія и познанія, который не былъ бы данъ въ этихъ формахъ. На первый взглядъ, пожалуй, можетъ показаться, что эти категоріи, эти формы воспріятія и познанія, вѣтъ которыхъ для насъ нѣтъ ничего, намъ доступнаго, только ограничиваются нашу познавательную способность, ставить ей предѣлы, служатъ нашъ кругозоръ, но это—явная иллюзія. Напротивъ: эти категоріи или формы воспріятія и мысли открываютъ намъ безконечность міра явлений и, въ сущности, всѣ они могли бы быть сведены къ одной: *къ категоріи безконечнаго, къ идеѣ вѣчности.*

И въ самомъ дѣлѣ:

Наука, именно точная наука, математическая и опытная, доказала:

- 1) безконечность пространства и времени;
- 2) постоянство (вѣчность) матеріи и силы, откуда само собою вытекаетъ:

¹⁾ Эта послѣдняя категорія принадлежитъ къ числу новыхъ, пока еще не пользующихся всеобщей обязательностью. Отсталые умы ея не знаютъ или не умѣютъ ею пользоваться. Но въ научно-философскомъ развитіи современной мысли эта категорія уже утвердилась и все болѣе становится привычною и необходимою формою мышленія.

3) непрерывность (безначальность и бесконечность) причинной связи (чредование причинъ и слѣдствій)

и 4) вѣчность—эволюціи.—

Итакъ:

Все, что подлежитъ познанію, дано намъ „sub specie aeternitatis“,—постигается нами категоріями или формами мысли, заключающими въ себѣ идею бесконечнаго.

Различныя науки вѣдаютъ различныя стороны или формы бесконечнаго. Такъ, астрономія есть созерцаніе и познаніе бесконечнаго въ пространствѣ и во времени; физика и химія, это—познаніе бесконечнаго въ матеріи и силѣ; біологія и соціология, это—познаніе и созерцаніе бесконечнаго въ эволюції.

И всякий астрономъ, физикъ, химикъ, біологъ, соціологъ скажетъ намъ, что созерцаніе бесконечнаго является не только какъ результатъ научныхъ изысканій, но и какъ необходимая предпосылка самихъ методовъ изслѣдованія. Нельзя сдѣлать астрономического наблюденія, физического или химического опыта, не держа въ головѣ мысли о бесконечности пространства и времени, о вѣчности матеріи и силы. Необходимость и неизбѣжность присутствія той же мысли въ головѣ біолога и соціолога явствуютъ изъ того, что, вѣдь, нѣть соціальныхъ и біологическихъ явлений безъ физико-химическихъ и механическихъ, т. е. міръ явлений жизни органической и психической связанны въ эволюціонномъ порядкѣ съ міромъ неорганическимъ, съ міромъ матеріи и силъ.

До сихъ поръ рѣчь шла о научномъ познаніи явлений. Теперь обратимся къ художественному познанію дѣйствительности.

Въ чёмъ существенное различие между наукой и искусствомъ?

Въ точкѣ зрењія, въ цѣляхъ, въ стремленіяхъ, въ идеалѣ. А именно: точка зрењія науки «космическая»; цѣли, стремленія науки—сводить все, что познается, къ основнымъ космическимъ силамъ, низводя сложные явлениа къ простымъ, простыя къ простейшимъ. Такъ, соціологи, историки, психологи, работая въ сферѣ сложнейшихъ явлений, созида научную соціологію и психологію, въ сущности, подготавлиаютъ материалъ и изыскиваютъ пути къ открытію генезиса этого порядка явлений изъ порядка явлений біологическихъ. Эти ученые могутъ работать въ своей области, не заглядывая въ біологію, но ихъ наука,

въ своихъ идеальныхъ цѣляхъ, несомнѣнно смотрѣть въ сторону біологіи, какъ эта послѣдняя — въ сторону физики и химії. Настоящая цѣль науки это — космосъ. Ея идеалъ въ томъ, чтобы, познавая части космоса, созерцать въ нихъ цѣлое, т. е. космосъ, т. е. безконечное.

Точка зрења искусства не космическая, а человѣческая. Его задачи, стремленія, цѣли — познавать человѣчество и все человѣческое. Искусство есть процессъ самопознанія человѣчества. И все, чего только касается искусство, сводится имъ къ человѣческому, такъ или иначе приводится въ связь съ этимъ послѣднимъ. Вся природа, весь космосъ въ его безконечности служить для искусства только материаломъ для познанія человѣка и человѣчества. Когда художникъ рисуетъ пейзажъ или море, то цѣль его не въ томъ, чтобы дать картину, по которой можно было бы изучить данный уголокъ природы, а въ томъ, чтобы подѣлиться съ нами своими мыслями, чувствами, настроеніями, для которыхъ данная картина служить только способомъ изображенія.

Дѣйствительность, воспроизводимая искусствомъ, въ сущности, всегда есть дѣйствительность человѣческая — жизнь и психологія людей, міръ ихъ стремленій, ихъ радостей, ихъ горя, вопросы счастья, проблемма добра и зла въ человѣческихъ отношеніяхъ, исканіе идеала.

Если станемъ на космическую точку зрења, то какимъ маленькимъ и ничтожнымъ покажется намъ этотъ мірокъ человѣческій! Но отчего же искусство, только и занимающееся этимъ міркомъ, такъ велико и такъ — вѣчно? И не обнаруживается ли въ искусствѣ, въ его историческомъ развитіи, явное стремленіе уравновѣсить космическую точку зрења — человѣческую, — противопоставить идеалу науки обратный идеалъ — сведенія космического къ человѣческому и создать апоѳеозъ человѣчества?

Антитеза науки и искусства есть антитеза космического и человѣческаго, какъ будто человѣчество не часть того же космоса.

Мы видѣли, какъ ясно обнаруживается, какъ ярко сказывается безконечное въ научномъ познаніи. Въ познаніи художественномъ оно словно замаскировано, оно какъ будто прячется; человѣчество выступаетъ здѣсь во всей своей ограниченности, бренности, относительности. Но вѣдь дѣйствитель-

ность, образующая объектъ искусства, есть только часть или разновидность все тѣхъ же явлений, образующихъ объектъ научнаго познанія, и категорія безконечнаго должна бы прилагаться къ нему въ той же мѣрѣ, какъ прилагается она ко всему прочему. Мы видимъ здѣсь особую постановку идеи безконечнаго, свойственную искусству.

Ясная и ясная въ науки, идея безконечнаго въ искусстве является идеей сокровенною, прячущеюся. Ее можно обнаружить путемъ изученія психологіи художественнаго творчества. Изслѣдованія въ этой области приводятъ къ открытію особой формы проявленія или особой разновидности безконечнаго, свойственной искусству. Постараемся сдѣлать это— и начнемъ нашъ посильный анализъ психологіи идеи безконечнаго въ искусствѣ разсмотрѣніемъ вышеуказанной антitezы космическаго и человѣческаго, природы и человѣка.

III.

Прочтемъ сперва слѣдующее мѣсто изъ «Поѣздки въ Полѣсье» Тургенева:

«Видъ огромнаго, весь небосклонъ обнимающаго бора, видъ Полѣсся напоминаетъ видъ моря; и впечатлѣнія имъ возбуждаются тѣ же; та же первобытная нетронутая сила разстилается широко и державно передъ лицомъ зрителя. Изъ нѣдра вѣковыхъ лѣсовъ, съ бессмертнаго лона водь поднимается тотъ же голосъ: «Мнѣ нѣть до тебя дѣла», говорить природа человѣку: «я царствую, а ты хлопочи о томъ, какъ бы не умереть». Но лѣсъ єднообразнѣе и печальнѣе моря, особенно сосновый лѣсъ, постоянно одинаковый и почти безшумный. Море грозитъ и ласкаетъ. Оно играетъ всѣми красками, говорить всѣми голосами; оно отражаетъ небо, отъ котораго тоже вѣтъ вѣчностью, но вѣчностью какъ будто намъ не чуждою... Неизмѣнныи мрачный боръ угрюмо молчитъ или воетъ глухо, и при видѣ его еще глубже и неотразимѣе проникаетъ въ сердце людское сознаніе нашей ничтожности. Трудно человѣку, существу единаго дня, вчера рожденному и уже сегодня обреченному смерти, трудно ему выносить холодный, безучастно устремленный на него взглядъ вѣчной Изыды; не однѣ дерзостныя надежды и мечтанія молодости смиряются и

гаснуть въ немъ, охваченный ледянымъ дыханіемъ стихіи; нѣть—вся душа его никнетъ и замираетъ и чувствуетъ, что послѣдній изъ его братій можетъ исчезнуть съ лица земли—и ни одна игла не дрогнетъ на этихъ вѣтвяхъ; онъ чувствуетъ свое одиночество, свою слабость, свою случайность и съ топропливымъ тайнымъ испугомъ обращается онъ къ мелкимъ заботамъ и трудамъ жизни; ему легче въ этомъ мірѣ, имъ самимъ созданномъ: здѣсь онъ дома, здѣсь онъ смѣеть еще вѣрить въ свое значеніе и въ свою силу».

Мірокъ человѣческій, потерянный, какъ точка, въ безпрѣдѣльной стихіи вѣчнаго—это и есть то самое, чѣмъ занимается реальное искусство, изученіемъ и воспроизведеніемъ чего оно скромно ограничиваетъ свою задачу. Оно есть искусство дѣйствительности человѣческой, той дѣйствительности, гдѣ человѣкъ у себя дома и гдѣ «онъ смѣеть еще вѣрить въ свое значеніе и въ свою силу». Но чтобы быть по возможности реальнѣе, т. е. въ наибольшемъ согласіи съ дѣйствительностью, искусство стремится не только описывать этотъ мірокъ, этотъ «домъ человѣческій», въ его обстановкѣ, въ его бытовомъ устройствѣ, съ его нравственной атмосферой и т. д.—но также ставитъ себѣ задачей объяснять, почему и на какомъ достаточномъ основаніи человѣкъ «смѣеть» здѣсь вѣрить въ свое назначеніе и въ свою силу. Этимъ опредѣляется та вѣчная проблема искусства, въ силу которой оно перестаетъ быть чисто описательнымъ, реальнымъ въ узкомъ смыслѣ, и становится реально-идеалистическимъ. Оно обращается къ изученію, критикѣ, истолкованію стремленій и идеаловъ человѣческихъ, которые вѣдь составляютъ часть все той же дѣйствительности. Преслѣдуя эту задачу, искусство отвѣчаетъ не только на вопросъ: какъ живетъ человѣчество у себя дома?—но и на вопросъ: чѣмъ люди живы и куда и какъ, живя, движется человѣчество?

Изображаетъ ли искусство мірокъ человѣческій въ его statu quo, или въ его стремлениі къ идеалу,—всегда въ искусствѣ дана, скрытая или явная, антитеза человѣческаго и космического, которую такъ живо (хотя и нѣсколько односторонне) воспроизвелъ Тургеневъ въ вышеприведенномъ отрывкѣ. Искусство есть мысль человѣчества о самомъ себѣ, и въ этой мысли такъ или иначе заключена оглядка на космосъ, порождающая различные, но всегда для человѣчества харак-

терные чувства и настроения, въ ряду которыхъ Тургеневъ отмѣтилъ страхъ передъ космическимъ, сознаніе своей ничтожности, своей бренности. Здѣсь отчетливо выступаетъ одно изъ различій между научно-философскимъ и художественнымъ сознаніемъ человѣчества. Страхъ передъ вѣчностью, передъ безпредѣльностью космоса (страхъ, который можно бы сблизить съ извѣстной боязнью пустого пространства) есть чувство по преимуществу «художественное», если можно такъ выразиться, но отнюдь не «научное», не «философское». Никакой астрономъ не боится космическихъ пространствъ и распоряжается тамъ, какъ у себя дома; никакой физикъ или химикъ, дѣлая опыты, не трепещетъ передъ вѣчностью матеріи и постоянствомъ энергіи.

Имъ, какъ представителямъ «космическихъ» стремленій разума человѣческаго, чужда антитеза «природы и человѣка», и ихъ не смущаетъ холодный, равнодушный взоръ вѣчной Изиды.

Эта антитеза, совершенно ненаучная, но въ высокой степени художественная, и связанный съ нею страхъ передъ бесконечнымъ, трепетъ передъ вѣчностью являются выражениемъ человѣческаго міровоззрѣнія, въ этомъ смыслѣ всегда дуалистического. Мы находимъ этотъ дуализмъ и въ практической жизни людей, и въ исторической жизни народовъ, и въ религіяхъ, и въ искусствѣ. Тутъ и борьба человѣка съ природой, и страхъ смерти, и обоготвореніе природы, и вѣра въ бессмертіе. Мы имѣемъ здѣсь различные формы, различные способы проявленія идеи бесконечнаго, взятой со стороны ея отношеній къ человѣчеству. Въ страхѣ смерти, въ вѣрѣ въ бессмертіе, въ созерцаніи природы, какъ и въ борьбѣ съ нею, раскрывается все та же перспектива бесконечнаго, но только точка зреінія на нее здѣсь не та, что въ наукѣ,—здѣсь дана человѣческая точка зреінія,—и зреілище бесконечнаго предстоитъ нашимъ духовнымъ очамъ въ особомъ—дуалистическомъ—освѣщеніи.

Это можно выразить еще такъ.

Человѣкъ, какъ дѣятель жизни, какъ существо общественное, членъ общества (различныя, исторически смынящіяся формы котораго суть лишь различные способы борьбы съ природой), человѣкъ, какъ существо религіозное, наконецъ человѣкъ, какъ создатель искусства, стоитъ передъ бесконеч-

нымъ, живеть на лонѣ безконечнаго, но постигаетъ и созерцаеть картину безконечнаго не иначе, какъ противополагая ее себѣ, мысля ея отношенія къ себѣ, создавая идеи, вѣрованія, образы и, наконецъ, учрежденія, въ которыхъ такъ или иначе воплощается эта человѣчески-дуалистическая концепція безконечнаго.

Во всѣхъ этихъ сферахъ безконечное дано, если можно такъ выразиться, не въ своемъ подлинномъ космическомъ видѣ, а въ формѣ разныхъ приближенныхъ величинъ, разныхъ замѣстителей, которые его замаскировываютъ. Здѣсь берется часть вмѣсто цѣлого, какъ замѣститель или символъ цѣлого; но такъ какъ это послѣднее безконечно, то и часть, его символъ, его замѣститель, имѣть смыслъ приближенной величины, заступающей мѣсто безконечнаго и *психологически* ему равносильной. Такъ, здѣсь мы имѣемъ дѣло не съ «космосомъ», а только съ «природою»; не астрономическое пространство съ его превосходящими всякое воображеніе цифрами развертывается здѣсь передъ нами, а только голубая даль небесъ, синяя даль океана, зеленый просторъ полей,—пространство, которому, какъ мы знаемъ, есть предѣль; но этотъ предѣль намъ не виденъ, и этого для насъ достаточно, чтобы пользоваться теряющейся въ дали перспективой пространства, какъ маской безконечнаго. Не космическое время безъ конца и начала, не *вѣчность* во всемъ научно-философскомъ смыслѣ этого непонятнаго слова, этого *супрациональнаго* понятія, очаровываетъ или пугаетъ нашъ умъ, а только относительно-далекая перспектива геологическихъ эпохъ, доисторическихъ временъ, исторического прошлаго, идеала будущаго. Этой маски вѣчности для насъ достаточно.

IV.

Изъ предыдущаго, полагаю, уже ясно видна наша точка зрѣнія: идея безконечнаго дана въ искусстве, но она въ немъ замаскирована; говорить о безконечномъ въ искусствѣ значитъ раскрывать *психологію чаянія* безконечнаго, *психологію приближенія* къ нему, осуществляющагося путемъ созданія художественныхъ образовъ, заключающихъ въ себѣ извѣстные психологические элементы безконечнаго.

Начнемъ съ психологіи созданія типовъ.

Художественные образы всегда такъ или иначе типичны,— они раскрываютъ намъ типичныя черты жизни или души человѣческой. Но въ ихъ ряду первенствующее мѣсто принадлежитъ тѣмъ, которые не только типичны для извѣстнаго общества, времени, эпохи, но, кромѣ того, сами являются законченными типами. Такъ, напримѣръ, Маниловъ, Собакевичъ, Плюшкинъ, конечно, типичны для нашей дореформенной общественности, но помимо того они, взятые сами по себѣ, являются широкими типами, имѣющими значеніе общечеловѣческое (Маниловы, Собакевичи, Плюшкины найдутся вездѣ—*mutatis mutandis*), но только пріуроченными къ русской дѣйствительности и къ извѣстной эпохѣ. Напротивъ, герои Чехова большую частью только типичны для эпохи, для извѣстной дѣйствительности, но сами не представляютъ законченныхъ типовъ. Это ничуть не умаляетъ ихъ высокаго художественнаго достоинства и ихъ огромнаго значенія; это только говорить о томъ, что они продуктъ другого художественного метода, другого рода творчества. О художественномъ методѣ Чехова будетъ рѣчь ниже. Здѣсь же мы имѣемъ пока въ виду только тотъ родъ творчества, который создаетъ законченные художественные типы.

Художественные типы бываютъ весьма разнообразны и ихъ можно классифицировать, расположивъ ихъ по степенямъ возрастающей общности, т. е. восходя отъ наиболѣе узкихъ къ болѣе широкимъ. Мы получимъ такую схему: 1) *типы бытовые* — этнографические (мужики Писемскаго, купцы Островскаго, козаки въ «Козакахъ» Толстого); 2) *национальные* или *национально-психологические* (Каратаевъ, Кутузовъ въ «Войнѣ и мирѣ», Обломовъ, Чичиковъ); 3) *национально-общественные*, пріуроченные къ извѣстнымъ фазисамъ общественного развитія (Онѣгинъ, Рудинъ, Лаврецкій, Базаровъ); 4) *классовые*, пріуроченные къ націи, мѣсту и времени, но вмѣщающіе въ себѣ черты общечеловѣческія или лучше *интернациональные* (въ классовой психологіи национальные различія часто затушевываются). Таковы великосвѣтскіе типы Толстого); 5) *чисто-психологические, общечеловѣческие типы*, наприм. типы женскихъ натуръ (у Пушкина, Тургенева, Толстого), типы, построенные на той или

иной страсти (Шекспировские¹⁾; Донъ-Жуанъ; Скупой; Мо-
цартъ и Сальери—Пушкина).

Сущность художественныхъ типовъ сводится къ слѣдую-
щему. Художественный типъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ
быть схематическимъ обобщенiemъ извѣстныхъ явленій: это
всегда конкретный, рѣзко-индивидуальный образъ, «живой че-
ловѣкъ», а не абстракція, но только этотъ образъ надѣленъ
обобщающей силою,—онъ является весьма удобнымъ пред-
ставителемъ себѣ подобныхъ, родственныхъ ему характеровъ,
натуръ, бытовыхъ, национальныхъ укладовъ психики и т. д.,
онъ въ своемъ ряду типичный экземпляръ и, какъ таковой,
служить представителемъ и замѣстителемъ всего ряда. Тамъ,
гдѣ нѣтъ этого совмѣщенія обобщенности съ индивидуально-
стью, нѣтъ и настоящей художественности образа. Если дана
обобщенность безъ индивидуальности, то выходитъ блѣдная
схема, могущая имѣть свое значеніе, но не производящая
художественного эффекта (таковы Фаустъ и Мефистофель у
Гете). Если дана индивидуальность безъ обобщенности, то
получается частный случай, разрозненный фактъ, имѣющій
лишь анекдотическое значеніе. Въ томъ и другомъ случаѣ
настоящей, подлинной художественности нѣтъ; но, разумѣется,
могутъ быть другія—подкупающія—достоинства: значитель-
ность идеи, интересъ замысла, блестящій стиль, великолѣп-
ные стихи, поэзія лиризма и т. д.

Итакъ, возьмемъ настоящіе художественные типы, т. е.
образы, въ которыхъ даны типичныя индивидуальности, и по-
стараемся вникнуть въ *психологію ихъ созданія и ихъ созер-
цанія*. Иначе говоря, нась здѣсь интересуютъ тѣ черты, ко-
торыми характеризуется процессъ созданія типовъ художни-
комъ, и тѣ, которыя мы сами наблюдаемъ въ себѣ, въ своихъ
умственныхъ актахъ и въ чувствахъ, когда воспринимаемъ,
созерцаемъ созданіе художника. Здѣсь передъ нами два про-
цесса: *творчества и восприятія*. Можно считать установлен-
нымъ, что, въ своихъ существенныхъ чертахъ, эти два про-
цесса совпадаютъ: *восприятіе и пониманіе художественного
образа есть повтореніе процесса творчества*. Душевный
строй въ обоихъ актахъ одинаковъ. Иначе мы не могли бы,
такъ сказать, откликнуться на созданіе художника, не могли

¹⁾ Отелло, Макбетъ, Гамлетъ, Лиръ.

бы понять и прочувствовать его. Художникъ создалъ образъ, какъ типъ. Этотъ образъ, чтобы онъ могъ быть понять нами и произвести художественный эфектъ, долженъ быть заново возсозданъ нами, *какъ типичный*. У художника былъ запасъ наблюдений, рядъ фактовъ,—они обобщились у него въ типичномъ образѣ, сгостились и кристаллизовались въ этой формѣ. Нужно, чтобы и мы имѣли въ своемъ распоряженіи соотвѣтственный матеріалъ наблюдений, опыта жизни. Образъ, данный художникомъ, послужить для этого нашего матеріала такою же формою обобщенія, кристаллизациі, какою явился онъ для матеріала, бывшаго въ распоряженіи художника. Если же у насъ нѣтъ такого матеріала, то образъ будетъ воспринять нами, какъ фактъ, а не обобщеніе (такъ это у дѣтей или подростковъ, читающихъ Пушкина, Гоголя, Тургенева и т. д.), и стало бытъ художественнаго эфекта не воспослѣдуетъ.

Изъ сказаннаго уже видно, что творческій процессъ созданія типовъ и повторяющій его процессъ воспріятія (пониманія), это, одинаково,—родъ индукціі, это—движеніе мысли отъ частнаго къ общему, отъ фактовъ къ ихъ обобщенію въ типѣ.

Здѣсь мы имѣемъ уже возможность заглянуть въ психологии процесса.

Мы имѣемъ матеріалъ фактовъ и наблюдений надъ окружающей жизнью, «впечатлѣній бытія», воспоминаній, опыта, «ума холодныхъ наблюдений и сердца горестныхъ замѣтъ» и т. д. и типичный образъ, завершающій рядъ фактическихъ данныхъ, ихъ объединяющій, ихъ обобщающій. Для наглядности можно представить это въ такой формулы: $a, a^1, a^2, a^3, a^4 \dots a^{100} \dots$ (матеріалъ, факты)=A (художественному обобщенію, типу). Здѣсь очевидно, что матеріалъ ($a, a^1, a^2, a^3 \dots$) есть рядъ неопределенно большой, нигдѣ не кончающійся; ибо, если у художника было всего счетомъ 1000 соотвѣтственныхъ наблюдений, то онъ отлично знаетъ, что въ жизни найдется 1001-ый, 1002-ой и т. д. случаи «этого» же порядка и для него данный рядъ—не имѣть видимаго предѣла.

У насъ съ вами было, скажемъ, всего 50 соотвѣтственныхъ случаевъ, которые мы наблюдали, но мы, воспринимая A (типичный образъ, созданный художникомъ), тотчасъ же превращаемъ эти 50 случаевъ въ неопределенно-большую ве-

личину. Къ этому соображению нужно присоединить слѣдующую поправку, еще лучше выясняющую психологическое значение количественной неопределенности материала. Вѣдь ни художникъ, ни мы не вели бухгалтеріи наблюдений и не записывали числа фактовъ того или другого сорта. Въ действительности цифра сдѣланныхъ наблюдений или полученныхъ впечатлѣній остается неизвѣстною. Обыкновенно это всего только 2—3, много десятокъ случаевъ, но эти немногіе случаи производятъ впечатлѣніе неопределенного множества. Пока они не обобщены, не выдѣлены въ особый рядъ, пока они разрознены и потеряны среди другихъ впечатлѣній, до тѣхъ поръ они будутъ казаться ограниченными и весьма немногочисленными, хотя бы попадались на глаза ежедневно и, за много лѣтъ, ихъ число представляло бы довольно большую цифру. Но разъ они выдѣлены и вытянуты въ однородный рядъ ($a, a^1, a^2 \dots a^{100} \dots$), то, хотя бы ихъ было счетомъ всего 3 или 4, они уже кажутся намъ весьма многочисленными, неопределенно-большимъ порядкомъ явленій, которыхъ и не сосчитаешь, которые не имѣютъ видимаго конца. Ихъ обобщеніе въ одномъ типичномъ образѣ (A) дѣлаетъ ихъ счетъ не нужнымъ. Ненужность перечисленія производить впечатлѣніе его невозможности; впечатлѣніе же невозможности содѣйствуетъ тому, что неопределенный, непрерывный рядъ ($a, a^1, a^2 \dots$) превращается въ одну изъ маскъ безконечнаго.

Оттуда выводъ: *художественные типы, въ психологіи ихъ созданія и восприятія, сопряжены съ чаяніемъ* (если угодно съ иллюзіей, а лучше съ впечатлѣніемъ) *безконечнаго, скрытаго въ формѣ количественно-неопределенного ряда фактовъ, находящихъ въ художественномъ образѣ свое обединеніе, обобщеніе и истолкованіе.*

Излишне пояснить, что, чѣмъ шире, чѣмъ общечеловѣчнѣе типъ, тѣмъ сильнѣе, тѣмъ ярче это впечатлѣніе безконечнаго; ибо тѣмъ безконечнѣе кажется рядъ фактовъ, неограниченныхъ узкими предѣлами, напримѣръ—данной этнографической разновидности или данныхъ бытовыхъ формъ. Психологическое восприятіе безконечнаго въ шекспировскихъ типахъ гораздо энергичнѣе, чѣмъ въ типахъ Островскаго. Отмѣтимъ еще слѣдующее: въ ряду великихъ художественныхъ образовъ найдутся такие, которые, повидимому, не могутъ устарѣть, потому ли, что въ нихъ воплощены коренные свойства человѣческой на-

туры, или же потому, что жизнь создаетъ все новыя явленія, для которыхъ данный образъ остается наилучшею формою художественного обобщенія. Яркими образчиками послѣдняго случая могутъ служить «Донъ-Кихотъ» и «Гамлетъ». Это типы общечеловѣческие и міровые, не только сохраняющіе живой интересъ, но даже, съ каждымъ поколѣніемъ, пріобрѣтающіе все больше и больше обобщающей силы. Не даромъ XIX вѣкъ интересовался этими образами, изучалъ ихъ и пользовался ими для художественного истолкованія соотвѣтственныхъ явленій жизни въ гораздо большей мѣрѣ, чѣмъ это было въ XVII и XVIII вѣкахъ. Были выдвинуты самой жизнью, историческимъ развитіемъ человѣчества новые факты того же порядка, явились многочисленные донъ-кихоты и гамлеты въ самой дѣйствительности,—и для художественного обобщенія, для психологического истолкованія такихъ натуръ, такихъ укладовъ духа образы, созданные Серванtesомъ и Шекспиромъ, доселѣ остаются незамѣнимы. Идея и чувство безконечнаго въ такихъ художественныхъ созданіяхъ выступаютъ съ наибольшою отчетливостью. Подводя итогъ всему сказанному о художественныхъ типахъ, мы выставимъ такую формулу: безконечное въ художественномъ типѣ есть психологический эффектъ, возникающей отъ сознанія того, что обобщающая сила образа простирается на неопредѣленно-огромное количество фактовъ дѣйствительности, которыхъ нельзя перечислить и учесть, и изъ которыхъ слагается какъ бы перспектива жизни, все расширяющаяся, все удаляющаяся и теряющаяся где-то далеко, далеко, куда глазъ не хватаетъ.

Это—тотъ же психологический эффектъ, который возникаетъ у насъ, когда мы созерцаемъ (въ натурѣ или же на картинѣ художника-живописца) далекія перспективы, просторъ степей, гладь моря, небесную высь, миріады звѣздъ. Все это различныя маски безконечнаго, различныя ступени приближенія къ нему. И безъ нихъ, безъ этой возможности заглянуть въ безконечное—нѣть искусства, нѣть поэзіи. Даже наивная и бѣдная идеями народная поэзія знаетъ это:

Высота-ль, высота поднебесная!
Широта-ль, широта, окіянъ-море!
Глубоки омыты Днѣпровскіе!..

Художественные типы, обобщая явленія дѣйствительности, открываютъ намъ перспективы самой жизни. Магическою силою искусства раздвигаются горизонты жизни, расширяется нашъ кругозоръ,—и наша человѣческая дѣйствительность, какъ бы ни была она бѣдна, мелка, ничтожна, являетъ намъ, возведенная въ «перль созданія», чудное, необычное, манящее зрѣлище широкихъ перспективъ, о которомъ мы можемъ также сказать: высота-ль, высота... широта-ль, широта... глубоки омыты жизни!

V.

Реальное искусство есть познаніе дѣйствительности, дости-
гаемое путемъ строгихъ методовъ, аналогичныхъ тѣмъ, кото-
рыми орудуетъ положительная наука. Въ послѣдней разли-
чается: 1) наблюденіе и 2) опытъ. Въ художественномъ
творчествѣ есть и то, и другое.

Наблюденіе, какъ методъ художественного познанія дѣй-
ствительности, преобладаетъ у тѣхъ художниковъ, которые
относятся къ жизни безъ предвзятой идеи, въ большей или
меньшей мѣрѣ *sine ira et studio*, стремясь понять дѣйствитель-
ность, какъ она есть, и нарисовать возможно полную и прав-
дивую картину ея. Они присматриваются къ различнымъ сто-
ронамъ жизни, изучаютъ людей, вникаютъ въ ихъ нравы,
быть, обстановку и стараются уловить характерныя черты
всего уклада жизненныхъ отношеній, взятыхъ въ извѣстныхъ
предѣлахъ мѣста и времени. Такъ Л. Н. Толстой изображалъ
жизнь великосвѣтскихъ круговъ въ раннихъ повѣстяхъ, въ
«Войнѣ и Мирѣ», въ «Аннѣ Карениной». Такъ Тургеневъ
рисовалъ русское передовое общество 30—60 г.г. въ лицѣ
его выдающихся и его заурядныхъ представителей и въ его
быту, стремясь возможно полно и правдивѣ охарактеризо-
вать дѣйствительность, въ ея типичныхъ чертахъ, раскрываю-
щихъ намъ ея «суть», ея подлинный психологический укладъ.
Такъ Писемскій, съ рѣдкимъ мастерствомъ и глубокимъ зна-
ніемъ дѣла, изображалъ нашу провинціальную жизнь въ до-
реформенное время. Такъ Гончаровъ въ яркихъ и живыхъ
краскахъ далъ исчерпывающую картину нашей обломовщины.
Это—художники — бытописатели, хроникеры эпохи, творцы

большихъ картинъ, огромныхъ полотенъ, на которыхъ типичныя формы и черты жизни отразились выпукло и ярко, и гдѣ во весь ростъ написаны, со всей роскошью анализа изображены законченные типы характеровъ и натуръ, раскрывающіе намъ глубокую психологическую правду. — Этотъ методъ, по праву, можетъ быть названъ — въ нашей литературѣ — «пушкинскимъ»: его творцомъ былъ у насъ Пушкинъ, великий гений художественного наблюденія, великий созерцатель жизни, поэтъ-реалистъ по преимуществу, необычайный мастеръ поэтизировать и претворять въ художественную картину самыя обыденныя, самыя невзрачныя впечатлѣнія жизни. «Евгений Онѣгинъ» — первый реальный романъ въ русской литературѣ, положившій основаніе художественному познанію нашей дѣйствительности, орудующему «методомъ наблюденія».

Любопытно отмѣтить у одного изъ величайшихъ представителей этого метода, у Тургенева, сознательное стремленіе къ всестороннему изученію жизни, къ полнотѣ наблюденій, къ провѣркѣ и критикѣ своихъ впечатлѣній. Еще въ 1859 г. Тургеневъ писалъ Дружинину о «необходимости возвращенія Пушкинского элемента въ противовѣсь Гоголевскому». Въ этомъ письмѣ читаемъ слѣдующее: «Стремленіе къ безпристрастію и къ истинѣ всецѣлой есть одно изъ немногихъ добрыхъ качествъ, за которыя я благодаренъ природѣ, давшей мнѣ ихъ». Черезъ 20 лѣтъ, въ письмѣ къ г. Кигну (1879 г.) Тургеневъ говорилъ: «нужно... читать, учиться безпрестанно, вникать во все окружающее, стараться не только уловить жизнь во всѣхъ ея проявленіяхъ, но и понимать тѣ законы, по которымъ она движется, и которые не всегда выступаютъ наружу; нужно сквозь игру случайностей добиваться до типовъ»...

Эта «методология» Тургенева въ высокой степени знаменательна: здѣсь художникъ идетъ рука объ руку съ ученымъ, и художественное творчество, т. е. художественное познаніе и поэтическая обработка дѣйствительности возводится на уровень научнаго изслѣдованія, орудующаго методомъ наблюденія. Въ этомъ сродствѣ искусства съ наукой отмѣтимъ одну для насъ особенно важную черту: подобно тому, какъ въ научномъ изслѣдованіи раскрывается безконечное въ явленіи, такъ и въ искусстве — дѣйствительность, разъ она стала предметомъ художественного наблюденія, превращается въ

источникъ ощущенія, чаянія, созерцанія безконечнаго, хотя бы и замаскированнаго въ той или иной формѣ. И въ самомъ дѣлѣ: начните вникать въ дѣйствительность съ цѣлью наблюденія ея типичныхъ чертъ, раскрытия ея «законовъ», ея смысла, начните присматриваться къ вѣчно смѣняющимся, по-вседневно мелькающимъ фактамъ жизни,—и вы почувствуете себя стоящимъ на берегу океана жизни, охваченнымъ безпредѣльной стихіей дѣйствительности,—передъ вами далеко и широко разстилается перспектива человѣческихъ отношеній и міръ душевныхъ движений, чувствъ, мысли, страстей, радости, горя, добра и зла,—и эта стихія духа, вѣчно движущаяся, немолчно звучащая, очаруетъ, околдуетъ и разбудить вашъ умъ вѣчнымъ шумомъ волнъ людскихъ, вѣчнымъ прибоемъ человѣчности...

*Созерцаніе дѣйствительности на почвѣ художествен-
наго наблюденія ея пробуждаетъ нашъ умъ для воспрія-
тія человѣчески-безконечнаго.*

Этотъ выводъ всецѣло прилагается и къ тому изученію дѣйствительности, которое основано не на наблюденіи въ собственномъ смыслѣ, а на «опытѣ».

Опытъ (экспериментъ) есть только особый сортъ наблюденія: онъ—наблюденіе, обставленное искусственными условіями, усиливающими впечатлѣніе, разъединяющими то, что въ дѣйствительности соединено, соединяющими то, что въ дѣйствительности разъединено. Опытъ въ искусствѣ это—наблюденіе, сдѣланное при помощи реактивовъ смѣха, слезъ, скорби, унынія, восторга, негодованія, ироніи, сарказма.

Сатира—вотъ исконный образецъ художественного эксперимента. Существенное различие между художникомъ-экспериментаторомъ и художникомъ-наблюдателемъ сводится къ тому, что первый, въ противоположность второму, не стремится къ «всесѣлой правдѣ», къ полному безпристрастію,—онъ преслѣдуется правду одностороннюю и относительную, которая, однако, часто оказывается и глубже, и важнѣе «всесѣлой правды».

Картина жизни, раскрывающаяся передъ нами въ созданіи художника-экспериментатора, не отвѣчаетъ дѣйствительности, какъ она есть,—зато она отвѣчаетъ дѣйствительности, какъ источнику скорби, смѣха, слезъ, негодованія. По такой картины нельзя составить себѣ точнаго, всесторонняго, правди-

ваго понятія о дѣйствительности; зато по ней можно составить себѣ весьма точное и глубоко-вѣрное представлѣніе о томъ, какъ дѣйствительность оскорбляетъ идеальное въ человѣкѣ, — и здѣсь, рядомъ съ опущеніемъ безконечнаго въ созерцаніи дѣйствительности, возникаетъ еще идея *безконечности идеала*.

Экспериментальнымъ методомъ въ искусствѣ возможно создавать *типы* и рисовать *типичную картину жизни* — такъ же точно, какъ и путемъ наблюденія, но только смыслъ и художественное значеніе этихъ типовъ и картинъ здѣсь иные. Но психологія безконечнаго остается здѣсь въ существенномъ той же, лишь съ добавленіемъ нѣкоторыхъ особыхъ душевныхъ движеній, опредѣлить которыя и предстоитъ намъ теперь.

VI.

Зачастую трудно или даже невозможно провести точную границу между наблюденіемъ и опытомъ въ искусствѣ. Есть не мало произведеній, въ созданіи которыхъ участвовали оба метода. Иногда образъ, построенный путемъ наблюденія, становится «экспериментальнымъ» въ силу того только, что художникъ намѣренно придалъ ему такія идеальные черты, которыя въ дѣйствительности встрѣчаются лишь спорадически и даны скорѣе, какъ намекъ, какъ возможность, чѣмъ какъ положительное достояніе и движущій мотивъ соотвѣтствующихъ натуръ. Таковы нѣкоторые изъ женскихъ типовъ Тургенева, въ особенности Лиза, героиня «Дворянскаго гнѣзда». Съ другой стороны присутствіе ироніи и сарказма придаетъ фигуры, построенной на данныхъ наблюденія, характеръ опыта. Такъ, напримѣръ, Гоголь Сквозника-Дмухановскаго могъ взять прямо изъ жизни, не дѣляя искусственнаго подбора чертъ, не сгущая красокъ. Но особое освѣщеніе, придающее этой фигурѣ такую яркость и выразительность, принадлежитъ не наблюденію, а, если можно такъ выразиться, добыто въ художественной лабораторіи поэта. Въ самой дѣйствительности Сквозниковъ-Дмухановскихъ, не уступающихъ Гоголевскому, было не мало, но они не были поставлены подъ этотъ яркій снопъ лучей сатиры. Дать особое освѣщеніе фигурѣ — значитъ уже перейти отъ наблюденія къ опыту, хотя бы самая фигура

была построена исключительно на данныхъ наблюденія. Такъ точно и Салтыкову незачѣмъ было дѣлать намѣренный подборъ черть и сгущать краски, когда онъ рисовалъ «ташкентцевъ» и «помпадуровъ»: подборъ былъ сдѣланъ самой дѣйствительностью—и превосходно сдѣланъ! И краски были достаточно сгущены въ самой «натурѣ»... Художнику оставалось только копировать «натуру». Но онъ этимъ не ограничился: онъ устроилъ художественную «лабораторію», гдѣ эти типы, эти созданія самой жизни были поставлены подъ перекрестнымъ огнемъ знаменитой — щедринской — сатиры и «обработаны» убийственными ядами ея сарказма, ея желчи и гнѣва.

Освѣщеніе художественного образа, самой жизнью не данное, а вытекающее изъ особенностей ума, таланта и самой натуры художника—вотъ въ чемъ главное отличие опыта отъ наблюденія въ искусствѣ. При этомъ не нужно думать, что это освѣщеніе должно быть непремѣнно сатирическое: оно бываетъ весьма разнообразно, и потому «экспериментальные» элементы встрѣчаются во многихъ, пожалуй—въ большинствѣ художественныхъ созданій, но только въ различной степени, съ различнымъ художественнымъ значеніемъ. Если «освѣщеніе» не играетъ существенной роли, если оно не важно для пониманія образа, который и безъ этого освѣщенія сохраняетъ свой смыслъ и значеніе, то такой прилатокъ «опыта» можно считать равнымъ нулю и смотрѣть на данный образъ, какъ на продуктъ одного лишь наблюденія. Не рѣдко приходится такъ именно понимать тѣ фигуры, которыхъ освѣщены безобиднымъ, благодушнымъ юморомъ, напримѣръ, зачастую—у Тургенева: юморъ вносить, конечно, известную долю «опыта», но эта доля недостаточно—велика для того, чтобы наблюдательный образъ преобразить въ экспериментальный.

Послѣ этихъ замѣчаній мы можемъ уже обратиться къ нашей попыткѣ—обнаружить присутствіе безконечнаго въ созданіяхъ художественного опыта. И мы начнемъ съ указанія на тотъ минимальный, нерѣдко равный нулю, элементъ «опыта», о которомъ мы только-что упомянули, именно на «юморѣ» и отсюда, отъ этихъ заслужившихъ, пойдемъ дальше,—слѣдя за все большимъ усиленіемъ или сгущеніемъ опытныхъ пріемовъ творчества.

Уже юморъ присоединяетъ къ художественному обобщенію дѣйствительности новый элементъ душевныхъ настроеній, опре-

дѣляетъ собою родъ «отношения къ дѣйствительности»; слѣдовательно, здѣсь уже дана не одна только дѣйствительность, въ ея художественно-типичномъ выраженіи, но еще нечто, какъ бы парящее надъ этой дѣйствительностью, родъ психической атмосферы, надъ нею образующейся. Подвигаясь дальше въ направленіи увеличивающейся экспериментальности творчества, мы встрѣчаемся съ тѣмъ «освѣщеніемъ» дѣйствительности, которое дано въ ея «сатирическомъ» изображеніи. Этотъ переходъ отъ безобиднаго юмора къ сатирѣ нерѣдко совершается почти незамѣтно. Такъ, напримѣръ, у Тургенева (въ особенности въ «Дымѣ» и «Нови») мы нечувствительно попадаемъ въ болѣе густую атмосферу настроеній, сразу не отдавая себѣ отчета въ томъ, что художникъ уже пересталъ быть юмористомъ и сталъ настоящимъ сатирикомъ, и передъ нами результаты настоящаго художественного опыта. Атмосфера настроеній сгущается и растетъ, слагаясь уже не изъ одного безобиднаго смѣха, но и изъ новыхъ элементовъ отрицанія, негодованія, осужденія... Дальнѣйшее движение въ этомъ направленіи ведетъ къ Гоголю и Щедрину. Остановимся на Гоголѣ. Герои «Ревизора» и «Мертвыхъ душъ» освѣщены и юморомъ, и сарказмомъ, и вся картина жизни, развертывающаяся здѣсь передъ нами, со всѣхъ сторонъ охвачена атмосферою особыхъ настроеній, чувствъ и мыслей, вытекающихъ не прямо изъ обобщеній, сдѣланныхъ художникомъ, а изъ «освѣщенія», и «особой переработки», какимъ онъ подвергъ свои художественные наблюденія. Эта «атмосфера» въ «Мертвыхъ душахъ» — громадна, можно сказать, это цѣлый сонмъ душевныхъ элементовъ, витающій надъ картиною дѣйствительности, здѣсь воспроизведенной. Художникъ не вводить васъ въ дѣйствительность, а помѣщаетъ гдѣ-то высоко-высоко надъ нею, и вы, съ этой высоты, созерцаете ее сквозь атмосферу ироніи и смѣха, то веселаго, то грустнаго, переходящаго въ скорбь, въ «невѣдомыя, незримыя міру слезы». И вы подымаетесь все выше и выше, ваша мысль царить высоко и мощно надъ этимъ нескончаемымъ рядомъ картинъ русской дѣйствительности, среди которой поставлены монументальные фигуры «героевъ», ярко освѣщенные совсѣмъ особымъ — Гоголевскимъ — свѣтомъ, о которомъ трудно сказать, въ какой именно пропорціи даны въ немъ составляющіе его свѣтовые элементы. Богъ вѣсть! но все освѣщено, все искрится, все движется и жить на этихъ огромныхъ полотнахъ, — и вы все это видите, все

созерцаете и понимаете. Вы понимаете и этот городъ N, въ ворота которого въѣхала бричка Чичикова, и гостиницу и Селифана съ Петрушкою, и знаменитыхъ трехъ коней Чичикова, и тихія деревушки, и помѣщичьи усадьбы, и господъ, и мужиковъ, и «дорогу», и все и все... Вы глубоко чувствуете все это—вы въ самомъ дѣлѣ понимаете все это—и вотъ изъ этого-то художественно-мудраго чувства дѣйствительности, изъ этого проникновенного пониманія ея и вытекаетъ особый порядокъ мыслей, чувствъ, настроеній, стихійно и властно овладѣвающихъ вами и уносящихъ васъ въ безконечность, подобно тому, какъ овладѣваетъ и уносить музыка...

Въ «Мертвыхъ душахъ» нѣть (и это можетъ показаться страннымъ) негодованія и нѣть унынія. Тамъ уродства жизни возведены въ «перлы созданія», и вы созерцаете эти перлы безъ всякой желчи, безъ гнѣва, sine ira,—вамъ достаточно сознанія, что явленія и формы жизни, въ нихъ воплощенные,—отрицательны. Вы получаете отрицаніе, знаменитое Гоголевское отрицаніе, сыгравшее такую огромную роль въ нашемъ общественномъ развитіи и въ исторіи нашего самосознанія. И вы нѣкоторымъ образомъ успокаиваетесь на этомъ отрицаніи, вмѣстѣ съ которымъ великій художникъ внушаетъ вамъ вѣру въ прогрессъ, въ движение впередъ, въ высокое призваніе Россіи. Безсмертная поэма полна этой вѣры и сама она—вся порывъ, вся движеніе. Быстро мелькаютъ картины, она за другой, одинъ «пейзажъ» дѣйствительности смѣняется другимъ, «вдохновенно» мчатся кони Чичикова, летить стрѣлою тройка, знаменитая гоголевская «птица-тройка», летить, не смущаясь тѣмъ, что везетъ она никого иного, какъ всего только—Павла Ивановича Чичикова. Далѣе—апоѳеозъ «дороги». «Какое манящее и несущее и влекущее въ словѣ: дорога!..»—Наконецъ, необычайное «движеніе» мысли, могучій полетъ вдохновенія—въ знаменитомъ мѣстѣ, гдѣ Чичиковъ, разматривая списокъ купленныхъ «душъ», воспроизводитъ «исторію» этихъ мертвцевъ...

Гоголевскія «слезы» въ самомъ дѣлѣ—незримы, и его скорбь глубоко скрыта подъ видимымъ смѣхомъ, заслонена творческимъ вдохновеніемъ, разгуломъ мысли...

VII.

Но пойдемъ дальше... Попробуемъ взглянуть на дѣйствительность человѣческую, напримѣръ, со стороны тоски существованія и тоски порыва. Кто изъ насъ не переживалъ минутъ томленія, когда намъ кажется, что жизнь потеряла смыслъ и интересъ, и нѣтъ охоты жить, нѣтъ силъ откликаться на призывы жизни, но въ то же время гдѣ-то въ глубинѣ души ужъ шевелится (выражаясь терминомъ Пушкина) «безкрылое» желаніе, безсильное, неясное стремленіе и сердце ноетъ безымянной тоской и томится душа въ безысходномъ порывѣ? Кто изъ насъ не испытывалъ хоть изрѣдка такихъ необыденныхъ, странныхъ, чуждыхъ жизни состояній духа? Поэты-лирики хорошо знаютъ ихъ и умѣютъ находить для нихъ яркія выраженія, своего рода поэтическія формулы. Вотъ, напримѣръ, формулы Пушкина:

...Цѣли нѣтъ передо мною
Сердце пусто, празднень умъ,
И томитъ меня тоскою
Однозвучный жизни шумъ...

Или: Въ степи мірской, печальной и безбрежной,
Таинственно пробились три ключа.
Ключъ юности, ключъ быстрый и мятежный
Бѣжитъ, кипитъ, сверкая и журча.
Кастальскій ключъ волною вдохновенія
Въ степи мірской изгнаниковъ поить...
Послѣдній ключъ, холодный ключъ забвенья,
Онъ сладче всѣхъ жаръ сердца утолить.

Поэтамъ лирики, какъ и поэтамъ музыки, въ этомъ случаѣ и книги въ руки: имъ дано уловлять эти мгновенія, отливать въ поэтическія или музыкальныя формулы эти сокровенные душевныя движенія, разоблачать эти тайны духа. Но вотъ представимъ себѣ, что за это дѣло взялся поэтъ образовъ, художникъ, созерцающій жизнь, наблюдающій нравы, вникающій въ пеструю картину бытовыхъ отношеній.

Прежде всего онъ увидитъ, что дѣйствительность, которую

онъ изучаетъ, далеко не идетъ навстрѣчу его задачамъ. Вѣдь сущность нашей жизни въ томъ, что она течетъ и уносить насъ въ свое мѣсто, что она не даетъ намъ отдыха отъ впечатлѣній, не позволяетъ задумываться и философствовать. «Пофилософствуй — умъ вскружится!». Это намъ не полагается. Намъ некогда! Надо жить или, по крайней мѣрѣ, дѣлать видъ, что живешь. Надо исполнять всѣ обряды жизни. Самому праздному изъ насъ некогда сосредоточиваться и углубляться въ себя, въ свою тоску, въ свою мечту. И потому тѣ мгновенія, о которыхъ мы говоримъ, такъ рѣдки, такъ мимолетны и — сплошь и рядомъ — пропадаютъ для насъ да-ромъ. Мы не въ силахъ остановить ихъ... Да и нужно ли ихъ останавливать?

Въ высокой степени нужно! такъ нужно, что всѣ формулы лирики и музыки оказываются недостаточными. Необходимо оправдать эти мгновенія очной ставки съ дѣйствительностью, обосновать ихъ на реальной почвѣ, связать съ определенными условіями жизни, пріурочить къ мѣсту и времени. «Формулы» лирики и музыки, при всей ихъ чарующей мощи и вѣчности, такъ же мимолетны и неуловимы, какъ тѣ мгновенія. Прозвучалъ аккордъ и нѣтъ его, и снова дѣйствительность вступаетъ въ свои права, попирая мечту, убаюкивая душу — гипнозомъ впечатлѣній и возбужденій повседневности. Задача всякаго искусства — пробуждать отъ повседневности. Этимъ между прочимъ объясняется огромный прогрессъ и популярность музыки, этого антипода дѣйствительности, этого воплощенаго въ гармонію и мелодію протеста противъ повседневности и всѣхъ гипнозовъ ея.

Но вотъ возникаетъ художникъ, который задается, на первый взглядъ, безумной задачей — перенести эту «музыкальную протестъ» въ самую дѣйствительность, въ ея художественномъ выраженіи, заставить ее самое говорить о тоскѣ, пѣть о томлѣніяхъ духа, о тайныхъ мгновеніяхъ, ею попираемыхъ. Для этого онъ не можетъ пользоваться дѣйствительностью — такъ, какъ она есть и какъ она художественно наблю-
дается, а долженъ подвергнуть ее ряду «художественныхъ опытовъ», устроить живую «лабораторію», где искусственно будутъ добываться изъ материала дѣйствительности тѣ «яды», которые въ ней существуютъ, но нейтрализованы противо-

ядіями повседневныхъ впечатлѣній, вѣчныхъ возбужденій и разсѣяній жизни.

Такова сущность творчества Чехова, и ключъ къ пониманію его удивительныхъ созданій, гдѣ все живьемъ взято изъ подлинной повседневной жизни и въ то же время такъ не похоже на нее, гдѣ *сама дѣйствительность, переработанная художественнымъ опытомъ, выдаетъ тайну тоски человѣческой*, гдѣ изъ сѣрыхъ красокъ, изъ тусклыхъ тоновъ захудалой жизни слагается потрясающая,—смѣло скажу—музыкальная картина душевныхъ томленій и «безкрылыхъ желаній», которыя такъ характерны для современного человѣчества и такъ нужны и цѣлебны для всѣхъ наскъ, больныхъ дѣтей выздоравливающаго вѣка. Геніальными художественными опытами Чеховъ изъ узкой жизни добываетъ ядъ широкой тоски, изъ пошлой дѣйствительности извлекаетъ отраву оздоровляющей скорби,—и вотъ передъ нами уходящая въ безконечную даль перспектива тѣхъ сокровенныхъ движений души, для выраженія которыхъ доселѣ годились только лирика да музыка. Чеховъ доказалъ, что этому художественному дѣлу можетъ съ огромнымъ успѣхомъ служить и реальное искусство.

Безконечность, которая намъ раскрывается здѣсь и манить наскъ, есть безконечность томленія духа человѣческаго среди пошлыхъ и уродливыхъ формъ жизни, вѣчность порыва изъ тьмы къ свѣту, вѣчность «безкрылыхъ желаній», стихийное, часто безотчетное стремленіе къ другому, невѣдомому будущему, гдѣ уже вспыхиваютъ, уже разгораются зарницы «здравой бури», о которой говорить одинъ изъ героевъ «Трехъ сестеръ» Чехова.

«Три сестры»—это художественный опытъ, который прежде всего поражаетъ наскъ тою простотой и тою геніальностью, какими отличались, напримѣръ, опыты Пастера. Матеріаль опыта живьемъ взять изъ подлинной жизни, изъ русской провинциальной жизни,—и *кѣ нему не присочинено ничего*, не прибавлено ни малѣйшей черточки, которая такъ или иначе нарушила бы полнѣйшій, законченный реализмъ картинъ. Но этотъ матеріаль подвергнутъ опыту, а не данъ какъ результатъ наблюденія. И въ этомъ геніальномъ опыѣ получены тѣ «яды» жизни, о которыхъ я говорилъ выше и прививка которыхъ такъ необходима намъ, обнажены и ярко выставлены

здесь и щемящая тоска русского—да и всякого—захудалаго существованія, и безкрылый порывъ къ лучшему будущему навстрѣчу зарницамъ далекаго идеала,—и мучительный вопросъ о смыслѣ жизни, о смыслѣ нашихъ страданій, и все, чего—какъ говоритъ Гоголь—«не зрять равнодушныя очи», но что видѣть и глубоко чувствуетъ художникъ, носящій въ своей душѣ всю тяготу эпохи.) И все это сливается въ удивительную симфонію, заключительный аккордъ которой: «о если бы знать! о если бы знать!»—звучить, и томить, и ча-руетъ, какъ музыка нашего собственнаго духа, которой, за дѣлами и бездѣльемъ, мы и не подозрѣвали въ себѣ. Занавѣсь опустилась, и частью подавленные, частью восторжен-ные, расходимся мы по домамъ—не такими, какими пришли въ театръ, и не узнавая себя думаемъ: *was hat man dir du, armes King, gethan?*

Бѣдныя дѣти жизни—мы отправлены чеховской скорбью, современною разновидностью міровой скорби. И благо намъ! Нельзя жить безъ такой отравы. Нельзя дѣлать даже малень-кихъ, очередныхъ дѣлъ текущей жизни, а тѣмъ болѣе быть на высотѣ ея историческихъ задачъ безъ пріобщенія къ иде-алу тоскующаго и стремящагося духа, безъ познанія тяготы существованія, безъ этого «о если бы знать! о если бы знать!»

VIII.

Конечный выводъ изъ нашего этюда можетъ быть выра-женъ такъ:

- 1) наука (и заключенная въ ней *философія*) есть, въ концѣ концовъ, познаніе и разработка идеи безконечнаго въ его космическихъ формахъ.
- 2) Искусство (и заключенная въ немъ *идеология*) есть, въ концѣ концовъ, познаніе и разработка идеи безконечнаго въ его человѣческомъ выраженіи.
- 3) Чтобы быть на высотѣ своей задачи, наука должна прежде всего претворять факты, съ которыми она имѣеть дѣло, въ «явленія»—иначе она будетъ мнимою, схолasti-ческою наукою. Познавая явленія, она орудуетъ *рациональ-ными методами*, исключающими произволъ, то, что можно назвать «сочинительствомъ» въ наукѣ.

4) Чтобы быть на высотѣ своей задачи, *искусство* должно прежде всего претворять факты жизни, съ которыми оно имѣть дѣло, въ нѣчто отвѣчающее «явленію» въ науцѣ, въ «законосообразную дѣйствительность», подлежащую художественному познанію путемъ извѣстныхъ методовъ искусства. Художественно-методическое познаніе дѣйствительности исключаетъ произволъ, выражающійся въ разныхъ видахъ «сочинительства».

5) Въ искусствѣ экспериментальномъ (какъ у Гоголя и у Чехова), а иногда и въ наблюдательномъ (какъ у Пушкина въ «Евг. Онѣгинѣ», въ «драматическихъ опытахъ») выдѣляются элементы лиризма, въ которыхъ человѣческая форма идеи безконечного находитъ своеобразное и чарующее выраженіе, психологически близкое къ музыкальному.

Горизонты будущаго и грани прошлаго.

I.

Въ умственномъ обиходѣ современнаго цивилизованнаго человѣчества есть не мало идей, которыя на первый взглядъ кажутся очевидными истинами, не требующими доказательства, но при ближайшемъ разсмотрѣніи оказываются наслѣдіемъ старыхъ міровоззрѣній, уже изжитыхъ.

Къ числу архаическихъ идей этого рода принадлежитъ весьма распространенное и глубоко укоренившееся въ умахъ понятие о будущемъ, какъ о чёмъ-то такомъ, что не можетъ быть предметомъ познанія, прогноза по указаніямъ науки, а подлежитъ совсѣмъ иному постиженію, основанному на вѣрѣ, надеждѣ и даже любви. Прошлое изучается, будущее созидается. Прошлымъ завѣдуетъ познающій разумъ, будущимъ распоряжается творческая воля, окрыленная вѣрой и мечтой. Прошлое есть фактъ, нѣчто данное, и мы можемъ изучать его, пользуясь установленными въ наукѣ методами изслѣдованія. Будущее есть нѣчто еще несуществующее, еще не ставшее фактомъ. Оно не подлежитъ научному изученію. И если оно постигается, то не научно, а религіозно или идеологически. Оттуда — уже недалеко отъ подмѣны понятія о будущемъ, какъ о закономѣрномъ всемирно-историческомъ процессѣ, понятіемъ о немъ, какъ объ идеалѣ. Идеалъ можно проповѣдовывать, проводить въ жизнь, осуществлять. Такимъ путемъ, будто-бы, и созидается будущее.

На крутыхъ поворотахъ исторіи это архаическое воззрѣніе, сохраненное не въ видѣ мертваго культурнаго пережитка, а въ качествѣ активнаго переживанія, пріобрѣтаетъ особое значеніе и овладѣваетъ умами съ необычной силой. Вѣра въ бу-

дущее становится въ своемъ родѣ религіозною: она порабощаетъ мысль человѣка, ослѣпляетъ умственный взоръ, направляетъ волю, гипнотизируетъ всю психику. Человѣческому произволенію, революціонному творчеству приписывается сверхъестественная мощь. Люди ждутъ чудесъ. Люди хотятъ творить чудеса. Они уже думаютъ, что творять ихъ, и ждутъ внезапнаго наступленія «царства правды» на землѣ...

Недавно мы это пережили, но намъ уже кажется, что это было давно. Есть доля правды въ такой иллюзіи: это было повтореніемъ того, что было давно, что бывало и въ XIX вѣкѣ, и въ XVIII в., и въ XVI в., и въ средніе вѣка, и въ древности... Это старо, какъ человѣчество, и пора бы уже мыслящей и просвѣщенной его части начать строить идею будущаго не на вѣрѣ, всегда въ этомъ случаѣ субъективной, а на объективномъ прогнозѣ, основанномъ на научномъ познаніи.

Глубокое, принципіальное отличие научнаго прогноза будущаго отъ другихъ, ненаучныхъ формъ его воспріятія не подлежитъ сомнѣнію. Несомнѣнно также, что наука съ ея приложеніями къ жизни (т. е. техникою въ обширномъ смыслѣ) таитъ въ себѣ огромную потенціальную силу творчества, освобожденіе которой приводить къ тому, что фантастическое и утопическое построеніе будущаго становится все болѣе ненужнымъ, а соотвѣтственныя попытки его созиданія являются напрасною и убыточною тратой энергіи.

Но все это еще далеко не стало прочнымъ достояніемъ мыслящей части общества. Однимъ изъ препятствій къ распространенію и упроченію этого воззрѣнія служить невыясненность основныхъ понятій тѣхъ явлений, о которыхъ идетъ рѣчь: что такое *будущее?* что такое *прошлое?* что такое *настоящее?*

Само собою разумѣется, дѣло идетъ не о психологическихъ и грамматическихъ категоріяхъ времени. Дѣло идетъ о *формахъ воспріятія исторического времени, обѣ ощущеніи человѣческой и соціальной измѣняемости.* Постараемся разобраться въ этомъ вопросѣ.

2.

Это явленіе соціологическаго (точнѣе, соціально-психологическаго) порядка. Какъ все соціальное, оно подлежитъ закону

эволюции. Путь его развитія уже опредѣлился съ достаточнou ясностью: первобытное человѣчество знало *только настоящее*.— это исходный пунктъ развитія; современное культурное человѣчество *уже очень мало живетъ настоящимъ* и держить въ сознаніи идею прошлаго и идею будущаго, которыя, все расширяясь, стремятся свести настоящее къ минимуму, разносильному нулю,— и это—тотъ пунктъ, достижениемъ котораго обозначилось направлениe и выяснился смыслъ пройденнаго пути развитія.

Прошлое и будущее—величины соотносительныя. Установленіе одной приводить къ обнаруженню другой. Въ глубокой древности предки современного культурного человѣчества, подобно нынѣшнимъ дикарямъ, не знали ни прошлаго, ни будущаго. Они ощущали только настоящее. Дикарь живеть изодня въ день, воспринимая соціальное время, какъ длящееся настоящее, какъ повтореніе все тѣхъ же переживаній. У него нѣть никакого интереса къ прошлому и никакого любопытства—заглянуть въ будущее. Онъ слишкомъ поглощенъ настоящимъ, слишкомъ подавленъ борьбою за существованіе въ ея элементарныхъ и грубыхъ формахъ, чтобы задумываться о прошломъ и будущемъ. У него еще нѣть воспоминаній, въ смыслѣ исторического опыта, и нѣть мечты, этимъ опытомъ порождаемой.

Намъ чуждо и странно такое состояніе сознанія, такое ощущеніе неподвижности жизни. Культурное человѣчество давнымъ-давно привыкло къ мысли, что, *tempora mutantur et nos mutamur in illis.*

Неясные контуры прошлаго и смутныя очертанія будущаго начинаютъ вырисовываться въ сознаніи людей только на известной ступени развитія, при первыхъ начаткахъ организованного труда. Но долго еще воспріятіе прошлаго и будущаго остается въ гораздо большей мѣрѣ явленіемъ психологическаго и грамматического мышленія, чѣмъ формою соціального чувства и сознанія. Въ теченіе многихъ вѣковъ медленно развивавшееся человѣчество, въ своихъ отношеніяхъ къ прошлому, ограничивалось нѣсколькими смутными преданіями старины, двумя-тремя миоами о предкахъ, о „мудрецахъ“, нѣкогда жившихъ. Съ развитіемъ и осложненіемъ культуры, съ прогрессомъ мысли, этотъ матеріаль преданій обогащается, расширяется; мало-по-малу слагаются легенды о дѣяніяхъ боговъ

и героевъ, эпической сказанія, генеалогія, космогонія. Очерчивается перспектива прошлаго, конечно, миѳического, и это прошлое долго еще останется какъ бы проекціей настоящаго,—оно построется по его образу и подобію. Лишь постепенно пробивается смутное представлениe о томъ, что нѣкогда, въ старину, люди жили иначе и были другими. И тутъ впервые, взлѣянная миѳомъ и религіей,—возникаетъ идеализація прошлаго,—и въ свое время это было замѣтнымъ шагомъ впередъ. Явилась легенда о золотомъ вѣкѣ, о раѣ,—человѣчество, впервые пробуя мыслить прошлое, не могло отнестись къ нему иначе, какъ мечтательно и романтически. Это означало, что наступилъ чередъ мечты, что по мѣрѣ того, какъ грани прошлаго отодвигались въ глубь временъ, начинали вырисовываться и очертанія будущаго. Возникало предчувствіе грядущихъ перемѣнъ, и становилось возможнымъ предположеніе, что времена измѣняются, и люди станутъ другими. Наступалъ чередъ ожиданій и предсказаній. Миоу прошлаго отвѣчалъ миѳ будущаго. За космогоніей слѣдовала эсхатология. Возникали великія историческія религіи, въ которыхъ раскрывались человѣчеству новыя перспективы и въ прошлое и въ будущее, и которыхъ всегда порождались соціальными кризисами, переселеніями, процессомъ образованія націй и т. д.

Прошли вѣка. Культурное человѣчество шло впередъ. Горизонты будущаго разверзались все шире, грани прошлаго отодвигались все дальше и дальше. Въ настоящее время человѣческій разумъ, вооруженный уже не миѳомъ, а точной наукой, познаетъ такую даль прошлаго, о какой прежде нельзя было и думать. Раскрываются перспективы первобытнаго человѣчества, и дѣло идетъ уже объ открытии происхожденія человѣка, о его зоологическомъ предкѣ. Грани прошлаго исчезаютъ въ глубинѣ геологическихъ эпохъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, на другомъ концѣ, грани прошлаго раздвигаются и по направленію къ настоящему. Эволюція, въ формѣ исторического прогресса, пошла ускореннымъ темпомъ, и нынѣ человѣческая и соціальная измѣняемость явственно ощущается на разстояніи какихъ-нибудь двухъ-трехъ поколѣній. Для насъ не только XVIII-ый вѣкъ, но и добрая половина XIX-го—уже прошлое. Мы чувствуемъ, что измѣняемся, что движемся, и, подъ воздействиемъ этого нового увѣства движенія, воспріятіе настоящаго превращается у наст. изъ постоянной вѣ-

личины въ перемѣнную, въ нѣчто уходящее, исчезающее, трудно-уловимое. Оно какъ бы стиснуто между гранями прошлаго, обращенными къ памъ, и ближайшими, уже видимыми горизонтами будущаго.

Съ этимъ связаны и другія перемѣны въ психикѣ человѣческой.

Для дикаря и первобытнаго человѣка будущее—только проекція настоящаго, преломленная въ вѣчномъ страхѣ, въ постоянной тревогѣ, въ пугливомъ ожиданіи всяческихъ бѣдъ и напастей, уже достаточно знакомыхъ человѣку по прошлому опыту. Этихъ страховъ мы не знаемъ, если не считать того рецидива ихъ, который обнаруживается въ эпохи кризисовъ и потрясений, вызываемыхъ несовершенствами и варварскими сторонами современной культуры. За вычетомъ такихъ случаевъ, можно сказать, что господствующее мѣсто въ психикѣ цивилизованнаго и прогрессирующаго человѣчества занимаетъ чувство увѣренности въ прочности культурныхъ приобрѣтеній, въ неотъемлемости завоеваній разума, въ непрерывности развитія. Страхъ и суевѣрія ожиданія вытѣснены сознаніемъ, что будущее не есть случайность, что оно закономѣрно вытекаетъ изъ прошлаго. Зная это прошлое, мы можемъ познавать и будущее. Между ними нѣтъ затяжнаго, неопределенно-долгаго настоящаго, которое бы ихъ раздѣляло, разрывая причинную связь вещей. Для насъ настоящее, это—только послѣднія мгновенія прошлаго, сливающіяся съ первыми проблесками будущаго, которое начинается. Настоящее есть начало будущаго.

Интересъ къ настоящему исчезаетъ. Истинный консерваторъ—типъ отжидающій, архаическій. Онъ уходитъ, и его мѣсто занимаютъ съ одной стороны реакціонеры и романтики, т. е. люди прошлаго, слѣдовательно, своего рода утописты, съ другой—прогрессисты, люди будущаго, между которыми есть также своеобразные утописты.

Такъ или иначе, мы живемъ не настоящимъ, а либо прошлымъ, либо будущимъ.

Передовая часть цивилизованнаго человѣчества, рационально-мыслящая, живеть исключительно будущимъ и вмѣсть съ тѣмъ интересуется прошлымъ, какъ предметомъ изученія, какъ материаломъ, изслѣдованіе котораго даетъ отвѣтъ на вопросы: откуда и куда мы идемъ? какъ мы произошли и во что превращаемся?

Для нашихъ созерцаній открыто безконечное прошлое, грани котораго сливаются съ геологической исторіей нашей планеты, да вѣчный космосъ, никакихъ граней не имѣюцій.

Для нашихъ прозрѣній есть безконечное будущее, видимый горизонтъ котораго отодвигается все дальше и дальше, и эти прозрѣнія укрепляютъ въ насъ уверенность въ томъ, что человѣчество идетъ закономѣрно впередъ — къ окончательной победѣ, силою науки и техники, не только надъ природой, но и надъ самими собой.

3.

Мыслящему уму эти перспективы прошлаго и будущаго, какъ ближайшія, такъ и болѣе отдаленныя, безусловно необходимы,—иначе, смотря въ упоръ на настоящее, онъ рискуетъ запутаться въ его противорѣчіяхъ. Настоящее есть причудливая амальгама изъ элементовъ прошлаго и будущаго. Ихъ нельзя разсортировать иначе, какъ держа въ сознаніи научно-обоснованную картину эволюціи человѣчества. Если такой картины въ вашемъ распоряженіи нѣтъ, а есть, вмѣсто нея, какая-нибудь другая, миѳологическая, утопическая, романтическая, то вся дѣйствительность представится вамъ въ фантастическомъ свѣтѣ. Отголоски былого вы пріймете за предвестіе грядущаго. То, что начинается, покажется вамъ оконченнымъ; вы станете отпѣвать живое; къ мертвѣцамъ вы обратитесь съ сіяющимъ лицомъ, съ добрыми пожеланіями долгой, счастливой жизни. Все переставится, передвинется и смѣшается въ бѣлесоватомъ туманѣ, и странно, необычно зазвучать въ немъ голоса жизни, сливаясь въ какое-то волшебное созвучіе диссонансовъ. Вы можете любоваться этими видѣніями и вслушиваться въ эти созвучія,—это ваше дѣло: никому не возбраняется видѣть то, чего нѣтъ, желать,—чего не бываетъ, слышать то, что молчитъ, не слышать самыхъ несомнѣнныхъ голосовъ жизни. Но знайте, что эта фантастика, не лишенная своей прелести,—коварна: она незамѣтно превратить васъ самихъ въ одну изъ тѣхъ уходящихъ тѣней прошлаго, которая, прежде чѣмъ исчезнуть, озаряются заемнымъ, обманчивымъ свѣтомъ, являя грустный видъ чего-то не совсѣмъ умершаго, какой-то воображаемой жизни... Такова участь всякаго *романтизма*—въ исторіи, въ религії, въ литературѣ, въ искусствѣ, въ жизни.

Есть много пережитковъ прошлаго. По большей части они остаются безсознательными, въ видѣ стертыхъ слѣдовъ давно угасшей жизни. Но иногда они оживаютъ, переходятъ въ сознаніе, и тогда люди, съ которыми это случилось, начинаютъ бредить на яву и слагаютъ новые миоы по образу и подобію старыхъ. Разумный, научный интересъ къ прошлому, составляющій необходимую принадлежность современнаго мышленія, превращается у этихъ людей въ болѣзньное пристрастіе къ старинѣ, родѣ исторической ностальгіи, и они грезятъ о прошломъ, идеализируя его, влюбляются въ средніе вѣка, въ классическую древнѣсть, подражаютъ давно-отжившему, даже его внѣшнимъ формамъ, костюмамъ, нравамъ, искусству и т. д. Такъ, на склонѣ XVIII-го вѣка, въ эпоху великой революціи, реставрировали античныя понятія, доблести, термины. Въ концѣ XVIII-го и въ началѣ XIX-го воскрешали и воспѣвали средніе вѣка и средневѣковой католицизмъ. Съ конца XIX-го вѣка и въ наши дни обнаруживается не менѣе болѣзньного интересъ къ старинѣ, какъ ближайшей, такъ и болѣе отдаленной. Такъ, во Франціи на нашихъ глазахъ воскресала наполеоновская легенда. Въ искусствѣ и литературѣ рѣзко обозначился повышенный интересъ ко всякой старинѣ вообще,—къ эпохѣ возрожденія въ частности.—У настѣ, въ тѣсномъ кружкѣ религіозныхъ мыслителей и поэтовъ, возникла идея «неохристіанства», и послышались старинные голоса, словно эхо давно умолкшихъ проповѣдей начала нашей эры или глухой отзвукъ византійскихъ споровъ. Мы слышали и читали мистическія разсужденія на богословскія и эсхагологическія темы. Типичные русскіе интеллигенты, искушенные въ спорахъ обо всемъ, de omni te scilicet вообще и о задачахъ интеллигенціи, о народничествѣ и марксизмѣ въ частности, вдругъ взяли и заговорили—какъ богословы и пророки.

Пока дѣло ограничивается философскими и литературными упражненіями, такая реставрація или имитациѣ старины остается на поверхности жизни, не пуская корней въ ея глубь. Но есть другія, гораздо болѣе серьезныя, переживанія прошлаго, есть иныя—очень живучія—наслѣдія протекшихъ вѣковъ. Я имѣю въ виду то, что можно назвать «психологическою религіозностью» современнаго человѣка, съ ея нерѣдкими спутниками или, лучше сказать, разновидностями—фанатизмомъ и утопизмомъ.

4.

Тысячелѣтія религіознаго воспитанія прошли не даромъ для человѣчества.—Въ глубокой древности, которую мы условно называемъ эпохою «первобытной культуры», люди во всякой вещи, будь это пень или камень, подозрѣвали присутствіе чего-то такого, что они называли «божественнымъ», что имѣть свою *свободную*, то благую (для людей), то злую *волю*, которой люди противопоставляли свою—такую же свободную—волю. Такое понятіе и это противопоставленіе одной воли другой и было началомъ *религіознаго* отношенія человѣка ко всему на свѣтѣ.

Если задаться цѣлью перечислить все, что въ разныя времена люди обоготворяли, къ чему они относились религіозно, то пришлось бы исписать не одну страницу. Сфера обоготворяемаго не ограничивалась реальными вещами; въ нее входили и вещи воображаемыя, и обобщенія вещей, какъ реальныхъ, такъ и воображаемыхъ...

Такъ, въ атмосферѣ на все откликающейся религіозности проходили вѣка культурнаго развитія и умственного прогресса. Одни боги смыняли другихъ; отъ поклоненія видимымъ вещамъ люди переходили къ поклоненію невидимымъ; обоготворенные факты уступали свое мѣсто обоготворенному обобщенію фактъвъ. Человѣчество переходило отъ религіозности наивной, такъ сказать, автоматичной, въ силу которой люди безъ дальнихъ разговоровъ обоготворяютъ то, что есть, что дано, къ другой, болѣе интенсивной и болѣе сложной, религіозности, которая ищетъ объектовъ, достойныхъ обоготворенія, которая отъ того, что есть, что дано, переходитъ къ тому, чего нѣть, что не дано. Еще шагъ дальше,—и предметомъ религіознаго отношенія станетъ желаемое, предметъ надеждъ, идеалъ.

Религіозная форма мысли и религіозное чувство въ теченіе долгихъ вѣковъ, пережитыхъ историческимъ человѣчествомъ, изощрялись, переходя отъ одного культа къ другому, постоянно ища новыхъ точекъ приложенія. Религіозность есть, если можно такъ выразиться, психическій органъ, который въ бездѣйствіи, когда прерывается нить религіозныхъ исканій, атрофируется

и, наоборотъ, развивается въ упражненіи, въ новыхъ поискахъ. На этой почвѣ вѣками установился особый человѣческій типъ, характеризующійся стремленіемъ обладать «истиной», — мы его назовемъ *homo religiosus*. — типомъ *религиозно-психологическимъ*. Его представителей не ищите среди тѣхъ, которые вѣруютъ не мудрствуя и пріемлютъ религію предковъ, ничто же вопреки глаголя. Конечно, они найдутся и тамъ, но придется долго искать. Чтобы сразу найти ихъ, идите туда, гдѣ люди ищутъ, въ какого бoga увѣровать, — туда, гдѣ вѣруютъ мудрствуя, гдѣ сперва вопреки глаголютъ, а потомъ ужъ пріемлютъ. Ищите психологически-религиознаго человѣка преимущественно среди еретиковъ, сектантовъ, идеалистовъ, атеистовъ, революціонеровъ, утопистовъ...

Психологическая религіозность, такъ понимаемая, есть особый, явно архаического типа, укладъ духа, отличающійся тѣмъ, что мнѣнія или убѣжденія человѣка превращаются въ догматы, что эти догматы овладѣваютъ сознаніемъ, порабощаютъ волю и объединяютъ всѣ душевые элементы въ стройное цѣлое; другое отличіе типа, это — убыль критической силы мысли и потеря *внутренней свободы*, взамѣнъ чего человѣкъ приобрѣтаетъ спасительную иллюзію якобы полной свободы воли.

Этотъ типъ — *homo religiosus* — разнообразится до безконечности, и есть множество разновидностей его. Во-первыхъ, онъ мѣняется отъ человѣка къ человѣку со стороны яркости выраженія или прочности его основныхъ чертъ. Во-вторыхъ, онъ всегда своеобразно преломляется въ психической средѣ, въ индивидуальной душѣ, всегда исполненной всякихъ противорѣчій и способной совмѣщать несовмѣстимое. Психика современного культурнаго человѣка слишкомъ сложна, чтобы воплощать религиозно-психологическій типъ во всей его полнотѣ и цѣльности, какъ воплощался онъ въ старину. — Даѣ, можно указать на такія разновидности типа, какъ 1) религіозность пассивная, созерцательная, и 2) религіозность активная, во-левая, съ ихъ различными видоизмѣненіями и помѣсями.

Но настѣ интересуетъ здѣсь другая форма, представляющаяся наиболѣе архаическою. Это — та, которая отмѣчена признаками *психологического утопизма*.

Во избѣженіе недоразумѣній, нужно оговориться, что я различаю понятіе психического утопизма отъ понятія утопіи, — примѣрно такъ, какъ различаю психологическую религіозность

оть положительной религії. Съ моей точки зрењія, иной че-
ловѣкъ, искренно и глубоко вѣрующій и сознательно исполь-
няющій обряды своей религії, можетъ оказаться вовсе не при-
надлежащимъ къ психологически-религіозному типу. И наобо-
ротъ, иной невѣрующій, атеистъ или материалистъ, оказывается
натурою психологически-религіозною. Такъ и въ области уто-
пизма. Весьма вѣроятно, что иные изъ сочинителей „утопій“,
оть Платона до Уэльса, не были представителями психологи-
ческаго утопизма. И наоборотъ: есть несомнѣнныя психологи-
ческие утописты, которымъ чужды идеи, обычно называемыя
утопическими. Современный западно-европейскій соціаль-демо-
кратической соціализмъ—не утопія и справедливо противопо-
ставляется такъ называемому утопическому соціализму, но
были и есть соціаль-демократы, проявляющіе въ своемъ мы-
шленіи и дѣйствованіи несомнѣнныя признаки психологического
утопизма. Сіонизмъ представляется утошіей, но есть убѣжден-
ные сіонисты, у которыхъ вы не найдете и слѣда утопизма.

Къ психологическому утопизму, большею частью совмѣ-
щающемуся съ положительною утопіею, иногда же обходящему-
ся и безъ нея, я отношу слѣдующія явленія: 1) всякаго
рода сектантство, силою религіознаго возбужденія и фанатиз-
ма осуществляющее *всё настоящемъ* (хотя бы и не всецѣло)
идеалъ, противорѣчашій закономѣрному историческому ходу
вещей (первая христіанская община, ана뱁тисты XVI-го вѣка,
пуритане, нѣкоторыя нынѣшнія секты въ Америкѣ и у насъ, и т. д.);
2) секты, партіи, ученія, ничего не осуществлявшія, но про-
повѣдующія идеалы, которые—въ существенномъ—противо-
рѣчать закономѣрной эволюціи человѣчества (наши старые слав-
янофилы, народничество разныхъ оттѣнковъ, во многомъ (далеко не во всемъ) ученіе Л. Н. Толстого и др.); 3) умо-
настроенія, характеризующіяся несбыточными ожиданіями, ино-
гда являющими видѣ чего-то возможнаго, иногда совершенно
фантастическими (напр., ожиданіе второго пришествія Христа
у первыхъ христіанъ и периодически въ средніе вѣка, вѣра въ
пришествіе Антихриста у нашихъ раскольниковъ при Петре
В., надежды на „соціальный переворотъ“ въ Россіи въ бо-
лѣе или менѣе близкомъ будущемъ у нашихъ пропаганди-
стовъ 70-хъ годовъ, упованія на всеобщую „соціальную ре-
волюцію“ у многихъ соціалистовъ въ Зап. Европѣ и у насъ,
и т. д.)

Изъ этихъ примѣровъ читатель ясно видѣть, о чѣмъ идетъ рѣчъ. Всѣ указанныя явленія и имъ подобныя объединяются въ одну группу общими имъ чертами явно-архаическаго характера, указывающими на очень древнее и несомнѣнно-религіозное происхожденіе психологіи этихъ явленій.

Сектантъ, славянофилъ, толстовецъ, революціонеръ-утопистъ,—всѣ они считаютъ себя обладателями безусловной „истини“ и дѣлать человѣчество на двѣ части: признающую эту истину и не признающую,—на „правовѣрныхъ“ и „еретиковъ“. Понятіе прогресса они замѣняютъ понятіемъ спасенія рода человѣческаго, которое воспослѣдуетъ силою обращенія „невѣрныхъ“ на путь истины. Нѣкогда господствовавшая вѣра въ магическую силу слова еще чувствуется и нынѣ въ широко-распространенномъ предразсудкѣ, будто можно обновить міръ силою пропаганды идей. Это—черта въ высокой степени архаическая. Столь же архаично и почти мистическое понятіе о государственной власти, какъ о какомъ-то волшебномъ рулѣ, овладѣвъ которымъ можно повернуть въ ту или другую сторону жизнь миллионовъ. Этотъ отголосокъ первобытной древности, это переживаніе архаического миоа, населявшаго міръ существами, одаренными волею, и приписывавшаго самой человѣческой волѣ сверхчеловѣческую силу, пронеслось, не умирая, черезъ всю исторію человѣчества и, очевидно, умретъ еще очень не скоро, питаясь иллюзіей свободы воли, глубоко укорененою въ нашемъ сознаніи.

Въ ряду идей или воззрѣній, которыя я называю утопическими, найдутся и такія, которыя, по существу своему, не заключаются въ себѣ ничего невозможнаго, ничего неосуществимаго. И самые трезвые умы иной разъ поддаются соблазну—принять такую идею. Сюда относятся, напр., наши славянофильскія, народническія и соціалистическія упованія на великое будущее русской крестьянской общины. Въ идѣи это будущее вполнѣ осуществимо. Но бѣда въ томъ, что оно не согласуется съ объективнымъ ходомъ вещей, что община есть явленіе прошлаго, а не будущаго.—Другой примѣръ. Буржуазные экономисты и идеологи капитализма увѣрены въ томъ, что основы капиталистического строя есть послѣднее слово экономического развитія человѣчества и останутся нерушимыми навсегда. Въ идѣи это можно представить себѣ, но это явная утопія, ибо объективный ходъ вещей ясно обна-

руживаеть непрочность капиталистического строя и государственности, на немъ основанной, ихъ быструю измѣненость и то направлениe, въ какомъ они измѣняются. Непредубѣжденный наблюдатель не можетъ не видѣть, что развитіе идетъ въ направлениi соціализаціи производительныхъ силъ культуры, и что, соотвѣтственно этому, современная западно-европейская государственность постепенно демократизируется. Это—не вопросъ «вѣры» въ будущее (оно же и не Богъ, чтобы въ него вѣрить или не вѣрить) и не идеологіи, всегда болѣе или менѣе субъективной, это—объективная «логика» фактovъ, это—процессъ экономической эволюціи, ни отъ какой идеологіи и ни отъ ни чьей воли независящій. Борьба классовъ—только симптомъ этой эволюціи. И все равно, каковъ бы ни былъ исходъ этой борьбы,—развитіе культуры будетъ идти дальше, все въ томъ же направлениi—силою вещей, «логикою» всеобщихъ интересовъ, настоятельностью назрѣвающихъ потребностей, накопленіемъ материальныхъ и духовныхъ благъ. Всякая попытка дать этому закономѣрному движению другое направлениe заранѣе обречена на неудачу, и всякая идея, ему противорѣчашая,—утопична, хотя бы гдѣ-нибудь она и могла бы осуществиться или осуществлялась въ прежнее время.—Въ ряду наиболѣе утопическихъ идей есть и такія, которыя имѣютъ многовѣковую давность, оправдывающую ихъ въ глазахъ ихъ адептовъ. Съ точки зрењia, здѣсь проводимой, давность представляется скорѣе поводомъ заподозрить такую идею въ утопичности. Архаизмъ идеи и есть то, чтѣ дѣлаетъ ее утопическою, хотя бы она и могла быть проведена въ жизнь. Есть несомнѣнныя утопіи, которыя, однако, осуществлялись, но только всегда въ тѣсномъ кругу; никогда не оказывали онъ вліянія на общій ходъ вещей и не являлись выражениемъ закономѣрного развитія культуры и мысли. Были (и есть) религіозныя секты, которыя осуществляли у себя, въ своей тѣсной средѣ, идеаль общности имуществъ и даже женъ; мормоны возстановили многоженство. Отъ этихъ опытовъ вѣеть чѣмъ-то въ высокой степени архаическими; всѣ они, не исключая наиболѣе симпатичныхъ сектъ, стоятъ въ сторонѣ отъ большой дороги прогресса. Одно ужъ отгораживаніе себя отъ остального міра есть черта одинаково и архаическая и утопическая.

Не умножая примѣровъ, подведемъ вышесказанному общій итогъ въ слѣдующей общей формулѣ:

Архаично и утопично все, что противорѣчить поступательному движению человѣчества, развивающагося въ направленіи къ всемирному единенію на почвѣ общности экономическихъ связей, жизненныхъ интересовъ и культурныхъ задачъ. Въ области мысли архаичны и утопичны тѣ пріемы, которые идутъ въ разрѣзъ съ развитіемъ рационального и критического мышленія и превращаютъ мнѣнія и убѣжденія въ «абсолютныя истины» и догматы. Въ воспріятіи прошлаго архаична и утопична всякая идеализація отжившихъ формъ и всякая попытка ихъ реставраціи, хотя бы только въ идеѣ. Наконецъ, въ воспріятіи будущаго архаично и утопично религіозное отношеніе къ нему, замѣна научнаго прогноза «върою» въ будущее, мечтательное ожиданіе и фанатическое отношеніе къ идеалу, хотя бы и вполнѣ рациональному.

Религіозное отношеніе къ идеямъ, фанатизмъ и склонность къ утопизму существуютъ вездѣ, но въ передовыхъ странахъ они замѣтно идутъ на убыль. Вѣковые навыки, вырошенные новой культурою и воспитаніемъ въ духѣ рационального, критического мышленія, въ извѣстной мѣрѣ подтачивають психологическую религіозность, являясь психическимъ тормозомъ въ отношеніи къ ней.—На западѣ (въ особенности въ Англіи и Сѣверной Америкѣ) положительная религія укоренена въ умахъ гораздо прочнѣе, чѣмъ психологическая религіозность. Напротивъ, въ странахъ отсталыхъ психологическая религіозность беретъ перевѣс надъ положительной религіей, захватывая въ свою сферу все, что приносятъ смѣняющія другъ друга умственныя теченія.

Два-три воспоминанія будутъ злѣсь нeliшними.

Когда, въ 60-хъ и 70-хъ годахъ, у насъ распространялись идеи материализма и позитивизма, тогда у многихъ онѣ моментально превращались въ какую-то новую религію. Молешотъ и Бюхнеръ были ея апостолами. Классификація наукъ Ог. Конта была какъ бы догматомъ...

Когда—въ 70-хъ годахъ—экономическое ученіе Карла Маркса стало овладѣвать умами, то оно овладѣвало ими на подобіе нѣкоего откровенія и было воспринято *народнически и утопически*. И былъ, кажется, въ рядахъ передовой интелигенціи только одинъ человѣкъ, понимавшій коренное прин-

ципіальне противорѣчіе между марксизмомъ съ одной стороны и народничествомъ и утопіей съ другой. Читатель догадывается, что я говорю о Н. И. Зиберѣ, которому принадлежитъ столь видное мѣсто въ нашей экономической литературѣ и которого по праву можно назвать основателемъ школы русскаго марксизма.

Въ 90-хъ годахъ «неомарксисты» съ Г. В. Плехановыемъ во главѣ занялись, между прочимъ, труднымъ дѣломъ очищенія по-нашему, по-русски понятаго Маркса отъ народническихъ толкованій и утопическихъ примѣсей. Нельзя было не привѣтствовать (за вычетомъ рѣзкостей въ полемикѣ) этого почина, который, несомнѣнно, былъ шагомъ впередъ въ дѣлѣ установленія у насъ критическихъ и рациональныхъ приемовъ мышленія въ вопросахъ, обычно вызывающихъ въ русскомъ интеллигентѣ настроеніе, похожее на религіозную эмоцію. Къ сожалѣнію, эта эмоція не замедлила появиться въ средѣ самихъ марксистовъ, и многие изъ нихъ моментально превратили теорію «экономического материализма», очень удобную, какъ методъ изслѣдованія, въ непререкаемый догматъ. А практическая дѣятельность, для которой марксизмъ является идеологіей, вылилась все въ ту же «сектантскую» форму съ фантастическими ожиданіями и утопическимъ настроеніемъ, какую въ большинствѣ случаевъ принимали у насъ революціонныя партии. Въ ряду основателей и лидеровъ русскаго марксизма были лица съ рѣзко-выраженной психологической религіозностью; они замѣтно содѣствовали тому, что нашъ марксизмъ превратился такъ скоро въ «вѣроученіе». Но это «вѣроученіе», ими же созданное, оказалось для нихъ слишкомъ грубымъ,— они стали искать другой, болѣе возвышенной религіи и скоро обрѣли ее въ идеализмѣ, метафизикѣ, даже въ мистикѣ.

Увлеченіе—въ дни свободы—идеей «диктатуры пролетариата» (въ г. Санктъ-Петербургѣ!) было однимъ изъ самыхъ яркихъ выражений живучести тѣхъ психологическихъ переживаній, въ силу которыхъ любая идея, по содержанию своему не имѣющая никакого отношенія къ религіи, воспринимается религіозно и превращается въ утопію.

У насъ, въ Россіи, такія переживанія особенно живучи, и ими-то и обусловливается тотъ идеологіческій пошибъ мысли, которымъ отличается наша интеллигенція. Ея психологическая религіозность есть фактъ, давно уже отмѣченный—какъ

ся великое преимущество. Съ моей точки зре́ния, это—вовсе не преимущество, а только необходимое до поры до времени орудие самосохранения, которым интеллигенция обороняется от уныния, от одиночества, от страха, от распада въ пустынѣ всероссийской некультурности...

Тутъ невольно вспоминается многое... Нѣкогда, въ глубокой древности, племена человѣческія, разсѣянныя на огромныхъ пространствахъ, среди дикой природы, небольшими, но тѣсно-сплоченными группами, спасались отъ ужасовъ, реальныхъ и фантастическихъ, силою религіозныхъ настроений и эмоцій, очарованіемъ утопическихъ надеждъ и стремленій... Вспоминаются древніе евреи, спасавшіеся отъ страховъ пустыни утопіей земли обѣтованной. Вспоминается и средне-вѣковое еврейство, замкнутое въ душныхъ гетто, окруженнное со всѣхъ сторонъ враждебною стихіей и выжившее силою не только положительной религіи, но еще больше силою психологической религіозности и утопическихъ упованій на обѣтованного Мессію...

Психологическая религіозность интеллигенціи есть явленіе того же порядка, повторявшееся вездѣ, гдѣ интеллигенція была обособлена отъ остальной массы и поставлена въ такое положеніе, при которомъ она не могла развиваться свободно и правильно, развертывая свои силы и прилагая ихъ къ дѣлу. И тутъ своего рода блужданіе въ пустынѣ и своего рода искусственная скученность, безпріютность въ нелюдимомъ просторѣ, тѣснота и духота кружковъ и «подполья»...

Съ развитіемъ культуры, съ подъемомъ благосостоянія и просвѣщенія массъ, съ успѣхами свободы, интеллигенція, силою вещей, перестаетъ быть столь одинокою и безпріютною; она встрѣчается въ широкихъ кругахъ населенія спросъ на свой трудъ и сочувствіе одушевляющимъ ее идеямъ. Возникаютъ посредствующіе слои между интеллигенціей и массой. Происходитъ разслоеніе самой интеллигенціи. Все это—условія, способствующія переходу отъ психологической религіозности къ другому, ей противоположному, укладу психики.

Въ передовыхъ странахъ Европы этотъ переходъ уже совершился. Не трудно предвидѣть, что дальнѣйшее развитіе пойдетъ тамъ же направленіем—все большей убыли психологической религіозности. Возможно, что она никогда не исчезнетъ; но она будетъ сведена къ минимуму и сой-

детъ со сцены—какъ форма воспріятія идеала и какъ дѣйствующая сила прогресса. Уже теперь утопія отступаетъ передъ критическою мыслью и научнымъ прогнозомъ будущаго, основаннымъ на изученіи прошлаго. На мѣсто субъективной вѣры въ будущее выдвигается объективное познаніе путей прогрессивной эволюціи. Научная постановка и разработка великой проблемы человѣческаго развитія даутъ прямой отвѣтъ на многие «проклятые вопросы» жизни. Техника будущаго (не надо быть пророкомъ, чтобы предвидѣть ея огромные успѣхи) въ высокой степени облегчитъ трудности жизни и борьбу за существованіе.

6.

Становясь цивилизованные, человѣчество становится человѣчнѣе. Въ этомъ смыслѣ за истекшее столѣтіе сдѣланы значительные успѣхи. Нѣть никакихъ основаній думать, что это движение остановится или приметъ другое направлѣніе. Путь развитія обозначился съ достаточною ясностью: передовое человѣчество идетъ къ победѣ не только природой, но и надъ своей собственной культурой. Путь ясенъ, но ясны также и тѣ трудности и препятствія, какія предстоятъ человѣчеству на этомъ пути. Они сводятся, главнымъ образомъ, къ печальному наслѣдію былого варварства и дикости. Въ учрежденіяхъ, въ нравахъ, въ психологіи современнаго человѣка есть еще много варварскаго и звѣрскаго, не мало навыковъ старой некультурности, лѣни, темноты. Къ нимъ присоединяются и благопріобрѣтенные изъяны, порожденные дефектами новой цивилизациіи. Въ ряду этихъ благопріобрѣтенныхъ тормозовъ прогресса одно изъ самыхъ видныхъ мѣстъ принадлежитъ неврастеніи и алкоголизму. Противъ этихъ язвъ современной цивилизациіи безсильна самая яркая психологическая религіозность и самая лучшая изъ уточій... Неврастенія, различные психозы, алкоголизмъ, все это— зло не столько настоящаго времени, сколько будущаго: ихъ результаты скажутся въ грядущихъ поколѣніяхъ. Борьба съ ними есть, поэтому, одинъ изъ тѣхъ процессовъ, которыми уготовляется будущее.

Благоустройство городовъ, улучшеніе жилищъ рабочаго

класса, общественная гигіена оставляютъ еще желать многаго. Но если сравнить теперешнія условія жизни въ большихъ городахъ и даже въ маленькихъ городкахъ и деревняхъ передовыхъ странъ Европы (въ особенности въ Германіи) съ тѣмъ, что было въ началѣ XIX-го вѣка, то придется признать фактъ огромнаго прогресса. Это значитъ, что за послѣднія сто лѣтъ люди стали лучше, цивилизованнѣе, прозорливѣе, умнѣе, что они думаютъ не только о себѣ и о настоящемъ, но и о своихъ дѣтяхъ и о будущемъ. Всѣ улучшенія въ области материальной культуры, это—работа для будущаго, и эта работа важнѣе всѣхъ утопій, вмѣстѣ взятыхъ.

Подъемъ материальной культуры это—первая, насущная потребность прогресса, это для него — *conditio sine qua non*. И—въ цивилизованной части человѣчества—это условіе уже осуществляется. Поскольку оно осуществляется, постольку уже наступаетъ и будущее, и ясно очерчиваются его ближайшіе горизонты. И нужно быть слѣпымъ, чтобы не видѣть, прежде всего, трехъ обозначившихся цѣлей, къ которымъ идетъ совершающееся развитіе: 1) *упраздненіе войнъ* (по крайней мѣрѣ, между цивилизованными народами); 2) *упраздненіе внутренней войны*, т. е. борьбы классовъ—черезъ рядъ смягченныхъ формъ классового антагонизма; движение въ этомъ направленіи намѣтилось уже съ достаточною ясностью; въ передовыхъ странахъ Европы уже невозможно возвращеніе къ старымъ формамъ классовой борьбы, къ бунтамъ, жакеріямъ, гражданскимъ войнамъ; 3) *превращеніе государственности изъ формы военныхъ и національныхъ державъ съ ихъ національнымъ эгоизмомъ въ форму экономической и культурной организаціи власти въ каждой странѣ*, при всемирной солидарности материальныхъ и духовныхъ интересовъ. Всюду совершающаяся нынѣ демократизация государства и культуры показываетъ, что въ этомъ именно направленіи и идетъ прогрессирующее человѣчество. Войны, къ сожалѣнію, еще будутъ, и много миллиардовъ будетъ потрачено на вооруженіе, но каждый шагъ впередъ въ направленіи демократизма является симптомомъ приближающагося конца варварства въ человѣчествѣ. Вспомнимъ: не далѣе какъ сто лѣтъ тому назадъ возможны были эпическая война и римскія утопіи Наполеона. За эти сто лѣтъ человѣчество ушло такъ далеко, что подобный кровавый эпосъ уже невозможенъ...

Человѣчество хочетъ жить по-человѣчески. Въ этомъ стремлениіи роль движущей силы, безспорно, принадлежитъ усложненію и повышенію потребностей, какъ материальныхъ, такъ и духовныхъ, при чемъ онѣ пріобрѣтаютъ ту степень интенсивности, которая дѣлаетъ ихъ удовлетвореніе неотложнымъ. А удовлетворить имъ можетъ только государство (въ обширномъ смыслѣ, включая сюда и органы мѣстного самоуправленія). Оттуда—ускоренный ходъ эволюціи государства, переходящаго отъ старого типа къ новому,—къ типу государства, могущаго обеспечивать всѣмъ безъ исключенія гражданамъ пользованіе полнотою культурныхъ благъ, въ данное время имѣющихся въ инвентарѣ всемирной цивилизациі.

Таковы видимые горизонты будущаго. «Вѣрить» въ нихъ нѣтъ надобности тому, кто ихъ видить. Незачѣмъ ему также идеализировать ихъ, воображая, что это будетъ рай земной... Обладаніе полнотою культурныхъ благъ и свободы влечеть за собою великую отвѣтственность и суровыя обязательства—созидать новыя культурныя блага и пользоваться свободою не для свободы, а для высшаго умственнаго и нравственнаго творчества, которое въ будущемъ, безспорно, будетъ и отвѣтственіе, и труднѣе, чѣмъ когда-либо...

Ближайшиe горизонты будущаго, уже видные цивилизованному и прогрессирующему человѣчеству, еще не видны у насъ, въ Россіи,—и потому они и являются у насъ предметомъ вѣры.

Наши ближайшиe горизонты опредѣляются отвѣтомъ на вопросъ: находимся ли мы уже на пути прогрессивнаго развитія (что въ Зап. Европѣ—фактъ несомнѣнныи, фактъ совершившійся), или же только собираемся вступить на этотъ путь и—пока что—топчемся на одномъ мѣстѣ и—вырождаемся?

«Въ Россію можно только вѣрить», сказалъ Тютчевъ... Мы думаемъ однако, что и у насъ возможенъ рациональный прогнозъ. Основаніемъ прогноза является тотъ несомнѣнныи фактъ, что наше прошлое—въ самомъ дѣлѣ прошлое, которое вернуться не можетъ. Настоящаго у насъ ни въ какомъ смыслѣ нѣть: все въ броженіи, въ процессѣ разложенія, въ попыткахъ созиданія. Если что-либо есть у насъ, то это—только будущее. Со временемъ Петра В. мы вошли въ семью

европейскихъ народовъ. Ихъ будущее—наше будущее. Но вслѣдствіе нашей отсталости намъ долго еще суждено пропавляться вѣрой, надеждой и утопіей,—пока наконецъ мы почувствуемъ подъ ногами твердую почву несомнѣннаго и ускореннаго прогресса, и горизонты будущаго выступятъ въ ту-
манъ, застилающемъ нашъ путь...